

ВОЛШЕБНАЯ ГОРА

1912–1924, выдержки Дятлова Н. С. от 10.10.2021, 1-113/1147=90%

1. в этих словах мы даем мимоходом намек и указание на сомнительность и своеобразную двойственность той загадочной стихии, которая зовется временем.
2. к чести Ганса Касторпа, следует отметить, что это именно его история, а ведь не с любым и каждым человеком может случиться история
3. Для истории это не такой уж большой недостаток, скорее даже преимущество, ибо любая история должна быть прошлым, и чем более она — прошлое, тем лучше и для ее особенностей как истории и для рассказчика, который бормочет свои заклинания над прошедшими временами
4. Подобно времени, пространство рождает забвение; оно достигает этого, освобождая человека от привычных связей с повседневностью, перенося его в некое первоначальное, вольное состояние, и даже педанта и обывателя способно вдруг превратить в бродягу. Говорят, что время — Лета; но и воздух дали — такой же напиток забвения, и пусть он действует менее основательно, зато — быстрее.
5. Почему-то они всегда избегали называть друг друга по имени, боясь больше всего на свете выказать излишнее душевное тепло. Однако называть друг друга по фамилии было бы нелепо, и они ограничивались простым «ты». Эго давно вошло у них в привычку.
6. До известного момента его жизни эти уши были его единственным горем и заботой. Теперь у него было достаточно других забот.
7. — До чего тут бесцеремонно обращаются с человеческим временем — просто диву даешься. Три недели для них — все равно что один день.
8. И Ганс Касторп с любопытством глубоко вдохнул в себя чуждый ему воздух. Он был свеж — и только. В нем не хватало ароматов, содержания, влаги, он легко входил в легкие и ничего не говорил душе.
9. Но в конце концов эти пейзажи быстро надоедают. Нам всем здесь наверху они ужасно надоели, можешь мне поверить, — закончил Иоахим, и его губы скривились гримасой отвращения.
10. И ты об этом рассказываешь совершенно спокойно? Ну, знаешь, за эти пять месяцев ты стал прямо циником!
11. Впрочем, оживлен был и Иоахим, а когда напевающая дама вдруг встала и удалилась, их беседа потекла еще веселей и непринужденнее.
12. он тотчас перескочил на другое и потребовал, чтобы Иоахим рассказал ему подробнее относительно жизни «здесь наверху», а также о пациентах санатория, за что тот принялся с охотой, ибо рад был возможности выговориться и поделиться впечатлениями.
13. Ведь я уже кончал училище и мог бы в следующем месяце сдать экзамен на офицера. Вместо этого я тут торчу без дела, с градусником во рту, считаю курьезы невежественной фрау Штёр, а драгоценное время уходит. В нашем возрасте год — это немало, там внизу жизнь приносит за год столько перемен, таких можно добиться успехов... А я тут должен протухать, как застоявшаяся вода в яме... бездельничать, как ленивый болван, — нет, это вовсе не грубое сравнение...
14. Его злило, что он в такой плохой форме, и, с самолюбивой обидчивостью молодости, он уже воображал, что улавливает в улыбке и ободряющем тоне ассистента скрытую насмешку.
15. Он не любит, когда уклоняются от его помощи как врача. Ко мне он тоже не очень-то благоволит — я недостаточно ему доверяю. Но время от времени я все же рассказываю ему свои сны, должен же он хоть что-нибудь расчлнять.
16. — Н у, тогда он, наверное, на меня обиделся, — с досадой заметил Ганс Касторп. Он был недоволен собой: вот задел кого-то...

17. старик очень мучился и упорно боролся с болезнью, ибо в отличие от сына Ганс-Лоренц Касторп был могучей натурой, пустившей крепкие корни в жизнь
18. это пра-пра-пра-пра — этот загадочный звук могилы и засыпанного времени, выразивший вместе с тем благочестиво сбереженную связь между настоящим, между собственной жизнью мальчика и тем, что было давно-давно, действовал на него особым образом — примерно так, как это и отражалось на его лице.
19. глухой слог «пра» вызывал в нем ощущение духовности, смешанное с ощущением смерти и истории, — и все это действовало на мальчика благотворно; может быть, даже именно ради этого слога, только чтобы еще раз услышать его и повторить, он так часто просил деда показать купель.
20. и в душе мальчика возникало уже не раз изведенное им ощущение какой-то дремотной и мечтательной жути, чего-то, что проходит и все же стоит на месте, что в своих изменениях пребывает неизменным, исчезает и возвращается, оставаясь головокружительно единым.
21. Его деятельность совпала с десятилетиями бурного подъема и многообразных переворотов, с десятилетиями стремительного прогресса, шествовавшего форсированным маршем и неизменно требовавшего от общества высокой жертвенности и дерзаний. Но его, старика Касторпа, видит Бог, отнюдь не радовали те прославленные и блистательные победы, которые одерживал дух новой эпохи.
22. это были скорее непосредственные живые восприятия, и когда они позднее возникали уже как осознанные воспоминания, они оставались столь же невыразимыми в словах и неподдающимися анализу, но полными прежней жизнеутверждающей силы.
23. либо как одну из тех вольностей, которую старость разрешает себе сознательно, из чудачества, либо как одну из тех слабостей, которые появляются у глубоких стариков, но ими не осознаются.
24. И семилетнему мальчику и, позднее, взрослому человеку, когда он обращался к своим воспоминаниям, казалось, что будничным облик деда — это еще не его истинная, подлинная сущность. В истинной действительности он выглядит иначе, прекраснее и ближе к своему подлинному облику
25. и хотя он видел деда таким, как на холсте, всего один раз, в минуту его торжественного въезда в ратушу, да и то лишь мельком, все же, как мы уже отмечали, дед на картине казался мальчику подлинным и настоящим, а дед в жизни — образом будничным и временным, вспомогательным и весьма несовершенным.
26. Со смертью для него соединялось благоговейное чувство чего-то глубокого, скорбного и прекрасного, то есть духовного, и вместе с тем ощущение чего-то совершенно противоположного, очень материального, очень плотского, о чем никак не скажешь, что оно прекрасно, глубоко, вызывает благоговение или хотя бы скорбь. Торжественно-духовное было выражено в пышном убранстве тела, в роскошных цветах, в пучках пальмовых ветвей, как известно символизирующих мир божественный, и еще яснее в распятии, лежавшем между мертвых пальцев
27. особенно груды цветов и, главное, туберозы, которых было больше всего, — имели и другой смысл, другую, более практическую цель, а именно: приукрасить, заглушить или не допустить до сознания мысль о том другом, что таила в себе смерть и что не было ни прекрасным, ни даже скорбным, а скорее чем-то почти непристойным, низменно телесным.
28. Ибо его натура в том и сказывалась, что он любил хорошую жизнь и, невзирая на свою малокровную и утонченную наружность, жаждал, как ненасытный малыш груди матери, грубых и сочных радостей существования.
29. зубы у него были слабые, часто болели, и во рту кое-где поблескивали золотые пломбы.
30. Ганс Касторп не гений и не дурак, и если мы избегаем называть его «посредственностью», то по причине, не имеющей никакого отношения к его уму и весьма мало — к его скромной особе; мы делаем это из уважения к его судьбе, которой склонны придавать сверхличное значение.

31. Человек живет не только своей личной жизнью, как отдельная индивидуальность, но — сознательно или бессознательно — также жизнью целого, жизнью современной ему эпохи
32. он не видел никаких причин для такого перенапряжения, вернее — бесспорных причин
33. Перед отдельным человеком могут стоять самые разнообразные задачи, цели, надежды и перспективы, и он черпает в них импульсы для более высоких трудов и усилий; но если в том внеличном, что окружает его, если, несмотря на всю внешнюю подвижность своей эпохи, он прозревает в самом существе ее отсутствие всяких надежд и перспектив, если ему открывается ее безнадежность, безвыходность, беспомощность и если на все — сознательно или бессознательно — поставленные вопросы о высшем, сверхличном и безусловном смысле всяких трудов и усилий эта эпоха отвечает глухим молчанием, то как раз у наиболее честных представителей человеческого рода такое молчание почти неизбежно вызывает подавленность, оно влияет не только на душевно-нравственный мир личности, но и каким-то образом на ее организм, на ее физический состав. Если эпоха не дает удовлетворительных ответов на вопросы «зачем», то для достижений, превосходящих обычные веления жизни, необходимы либо моральное одиночество и непосредственность, — а они встречаются весьма редко и по существу героичны, — либо мощная жизненная сила. Ни того, ни другого у Ганса Касторпа не было, вот почему его, вероятно, все же следовало назвать посредственностью, хотя ничуть не в обидном смысле этого слова.
34. решил окончить гимназический курс, говоря по правде, главным образом потому, что так можно было продлить привычное и неопределенное состояние, в котором он находился столько лет, и оттянуть решение вопроса о том, чем же больше всего хочется стать Гансу Касторпу, ибо он этого еще не знал даже в старшем классе, и когда потом наконец решил (сказать, что решил именно он, было бы, пожалуй, преувеличением), то почувствовал, что с таким же успехом мог бы выбрать и другую профессию.
35. кто-то сказал консулу Тинапелю, что у Ганса Касторпа — талант, из него может выйти хороший маринист; мнение это консул спокойно мог передать своему воспитаннику, ибо Ганс Касторп, услышав его, только добродушно рассмеялся: его ничуть не прельщали ни непрерывная работа, ни полуголодное существование, на которое обречены художники.
36. То, что принадлежит тебе, помещено прочно и приносит тебе устойчивый доход. Но существовать на проценты в наше время — дело нелегкое, если не иметь по крайней мере в пять раз больше, чем ты;
37. а чтобы здесь, в городе, играть известную роль и жить, как ты привык, нужно еще прилично зарабатывать, запомни это, сынок».
38. Притом у Иоахима Цимсена слабые легкие, вот он и стремится к деятельности, при которой много бываешь на воздухе и о серьезной, напряженной умственной работе едва ли может быть речь, и для него эта профессия — самая подходящая, с легким пренебрежением говорил себе Ганс Касторп. Ибо почтительно склонялся перед трудом, хотя сам легко уставал от работы.
39. Здесь мы принуждены возвратиться к уже высказанным ранее мыслям, к предположению, что воздействие эпохи на отдельного человека захватывает даже его физическую организацию. Как мог бы Ганс Касторп не уважать труд? Это было бы просто противоестественно. Весь строй окружающей жизни заставлял его относиться к труду как к чему-то заслуживающему самого неоспоримого и глубокого почитания; да, в сущности, и не было ничего, достойного большего почитания, труд служил как бы основным мерилom человека, его пригодности или непригодности для жизни, он являлся абсолютным принципом эпохи, он, так сказать, сам говорил за себя. Поэтому почитание труда было у Ганса Касторпа прямо-таки религиозным и, поскольку он отдавал себе в том отчет, безоговорочным. Другой вопрос — любил ли он труд; а любить его он не мог, как ни уважал, и по той простой причине, что труд не шел ему впрок. Напряженная работа отзывалась на его нервах, он скоро уставал и откровенно сознавался, что, говоря по правде, предпочитает досуг, ничем не отягченный, не обремененный свинцовым грузом тяжелой работы, свободное время, не ограниченное препятствиями, которые надо преодолевать с зубным скрежетом. Это противоречие в его отношении к труду, если говорить вполне

серьезно, должно было как-то разрешиться. Быть может, его тело, так же как и дух, — сначала дух, а через него и тело, — скорее согласились бы работать с большей радостью и упорством, если бы в сокровенных глубинах души — тут для него самого было много неясного — Ганс Касторп поверил бы в труд как в безусловную ценность, как в самоочевидную основу жизни и на этом успокоился бы. Здесь опять возникает вопрос о том, «посредственность» ли он, или стоит выше посредственности; однако мы предпочли бы не связывать себя определенным ответом, ибо вовсе не хотим быть панегиристами, воспевающими хвалу Гансу Касторпу, и готовы допустить, что для него труд, быть может, являлся просто некоторой помехой к ничем не омраченному наслаждению «Марией Манчини».

40. Технические чертежи, все эти шпанты, ватерлинии и продольные разрезы получались у него не так удачно, как некогда получилось изображение «Ганзы», плывущей в открытом море; но если надо было усилить абстрактную наглядность с помощью чувственной, наложить тушью тени и раскрасить поперечные разрезы яркими, материальными красками, Ганс Касторп делал это лучше, чем большинство товарищей.
41. Ведь он унаследовал определенные традиции, принадлежность к старинному хорошему роду, и, без сомнения, настанет день, когда с его особой придется считаться как с политическим фактором. Он будет членом городской думы и депутатом, будет издавать законы, ему выпадет на долю почетное участие в государственных заботах, он войдет в какой-нибудь административный отдел, может быть, в финансовую комиссию или в строительную, к его мнению будут прислушиваться и считаться с ним при голосованиях. Было также небезынтересно, к какой же партии примкнет со временем молодой Касторп!
42. Говорят, наружность обманчива, но его внешний облик именно таков, какого не бывает у людей, на которых могли бы рассчитывать демократы; кроме того — он вылитый дед.
43. Последует ли внук его примеру и станет тормозом прогресса, консервативным элементом?
44. Могло быть так, а могло быть и наоборот. В конце концов он же инженер, будущий кораблестроитель, участвующий в создании международных связей, представитель техники. Поэтому не исключено и то, что Ганс Касторп примкнет к радикалам, станет бунтовщиком, невежественным разрушителем старинных зданий и пейзажных красот, как не знающий удержу еврей или лишенный пиетета американец, предпочитающий постепенному и естественному прогрессу жизненных условий резкий разрыв с почтенными традициями прошлого и готовый вовлечь государство в рискованные эксперименты; это тоже могло быть.
45. намеревался поступить к «Гундеру и Вильмсу» инженером-практикантом, дабы увенчать свои познания необходимым практическим опытом.
46. привычки высокоцивилизованного человека, в которых главную роль играли резиновый тазик, деревянная мыльница с зеленым лавандовым мылом и соломенный помазок; кроме того, предстояли не только заботы о чистоте и уходе за телом
47. снисходительно улыбнулся с тем чувством превосходства, с каким человек, бредущийся при дневном свете разума, вспоминает ночную чепуху сновидений. Вполне отдохнувшим он себя не чувствовал, однако молодой день освежил его.
48. Впрочем, добродушие это можно было истолковать различно: более пресно — как чистоту души, более возвышенно — как суровую стыдливость, более уничижительно — как лицемерие и боязнь правды и даже как благочестивый и мистический страх перед грехом; впрочем, в чувствах Ганса Касторпа было всего этого понемножку.
49. Он был смущен и нервничал, как обычно нервничают молодые люди, когда должны предстать перед большим обществом совершенно чужих им людей, к тому же его мучило сознание, что у него мутные глаза и красное лицо, хотя это было верно только отчасти. Он был скорее бледен.
50. — Разве они тебе так мешали? Да, они до известной степени варвары — словом, нецивилизованны, я же тебя предупреждал. Он всегда приходит к столу в кожаной куртке, до того заношенной, что я просто удивляюсь; почему Беренс не сделает ему замечания. Она тоже не вполне прилична, хотя носит шляпу с перьями... Впрочем, можешь не

- беспокоиться, они сидят далеко от нас — за «плохим» русским столом, ибо есть еще «хороший» русский стол, где сидят только русские аристократы
51. В невежественность суждений фрау Штёр поверить было нетрудно, ибо выражение ее лица говорило о явной глупости и ограниченности.
52. оно пило кофе и намазывало масло на булку; он решил, что это швея или домашняя портниха, оттого что искони этот образ связывался для него с кофе и намазанной маслом булкой
53. «Я такая вялая», — говорила она, растягивая слова, и при этом кривлялась, как самая некультурная женщина.
54. Вначале Ганс Касторп опасался каких-либо тягостных впечатлений, но вынужден был разочароваться: здесь, в столовой, все протекало очень спокойно и не было чувства, что находишься в обители горя.
55. Правда, кое-кто сидел, подперев голову руками, глядя перед собой невидящим взором. Но им не мешали глядеть перед собой и не обращали на них внимания.
56. одна из дверей, та, которая находилась слева и вела прямо в холл: кто-то дал ей самой захлопнуться или даже пустил ее с размаху, притом с таким шумом, который Ганс Касторп не терпел, ненавидел с детства. Может быть, ненависть была вызвана его воспитанием, может быть, это была врожденная идиосинкразия, но он не выносил хлопанья дверями и способен был, кажется, прибить всякого, кто провинился бы в этом у него на глазах.
57. Он держался только как ассистент и ни в какой мере не участвовал в знакомстве с вновь прибывшим, хотя едва уловимая усмешка на его губах показывала, что его подчиненное положение кажется ему более чем странным.
58. — Я сразу заметил — в вас есть что-то такое гражданское, комфортабельное, а не бряцающее оружием, как у этого вот ротного командира. Держу пари, вы были бы лучшим пациентом, чем он. Я сразу по человеку вижу, толковый из него выйдет пациент или нет, чтобы быть пациентом — для этого тоже нужен талант, талант для всего нужен, а у этого мирмидонца таланта нет ни на грош. Насчет маршировок — не знаю, а к тому, чтобы быть больным — никакого. Поверите ли — все время стремится уехать, терзает и мучит меня и ждет не дождется, когда его там внизу заберут в казарму. Усердие неслыханное, описать невозможно! Даже полгода не хочет нам подарить.
59. Назвать градусник «ртутной сигарой» — это же прелесть, и сразу понятно, о чем речь...
60. — Не понимаю, как это можно! Ты лишаешь себя, так сказать, одного из лучших благ существования и уж во всяком случае огромного удовольствия! Когда я просыпаюсь, то заранее радуюсь, что вот в течение дня буду курить, и когда ем, тоже радуюсь; по правде говоря, я и ем-то лишь ради того, чтобы затем покурить... Ну, это я, конечно, преувеличиваю. Но день без табака мне казался бы невыносимо пустым, это был бы совершенно безрадостный, унылый день; и если бы завтра пришлось сказать себе: сегодня курить будет нечего, — кажется, у меня не хватило бы мужества подняться с постели, уверяю тебя, я бы так и остался лежать. Видишь ли, когда у человека есть хорошая сигара — конечно, если она хорошо тянется и сбоку не проходит воздух, это очень раздражает, — если есть такая сигара, то уже ничего не страшно, тебе в буквальном смысле слова ничто не может угрожать. Все равно как на берегу моря, лежишь себе и лежишь, и все тут, верно? И ничего тебе не нужно, ни работы, ни развлечений... Люди, слава Богу, курят на всем земном шаре, и нет, насколько мне известно, ни одного уголка земли, — куда бы тебя ни забросило, — где бы курение было неизвестно.
61. Ну допустим, пошатнулись бы мои дела... но пока у меня есть сигара — я все выдержу, уверен... она поможет мне справиться.
62. — И все-таки в том, что ты так зависишь от курения, есть какая-то распушенность, — сказал Иоахим.
63. И мне несколько не повредит, если я, во имя Божье, прибавлю белка, хотя, согласись, это звучит даже как-то противно.
64. одна — тощая, как жердь, с лицом цвета слоновой кости, другая — маленькая и жирная, в некрасивых родимых пятнах.

65. Они все подружились, ведь такая вещь, как пневмоторакс, естественно, сближает людей, вот эти даже основали «Союз одноклассников» и известны под этим названием.
66. Но гордость их союза — это Германа Клефельд, потому что она умеет свистеть пневмотораксом, — у нее просто талант, он дан не всякому. Как уж она это делает, тоже не скажу тебе, да она и сама вряд ли объяснит.
67. — Господи, — ответил он наконец, — но ведь они же совершенно свободны! Я хочу сказать, все они молоды, время не имеет для них никакого значения, и потом они же могут умереть. Зачем же им тогда напускать на себя серьезность? Я иногда думаю: болезнь и смерть — это дело несерьезное, своего рода тушеводство, серьезна, собственно говоря, только жизнь там внизу. Я думаю, ты поймешь это со временем, когда побудешь здесь подольше.
68. Вы все тут наверху очень заинтересовали меня, а когда чем-нибудь интересуешься, то приходит и понимание...
69. — Я считаю такое сравнение неуместным, — заметил Ганс Касторп не без строгости.
70. Был у нас такой, напоследок он разыграл отвратительную сцену, ни за что не хотел умирать. Тогда-то Беренс на него и накинулся. «Пожалуйста, не ломайтесь», — заявил он, и пациент мгновенно утихомирился и умер совершенно спокойно.
71. Она была на самом деле очень слаба, только страх придал ей такую силу. Ей было страшно до ужаса, она же почувала, что скоро умрет. Ведь совсем молоденькая девушка, как тут в конце концов не извинить ее? Но иногда и мужчины ведут себя так же, а уж это непросительное безволие! Впрочем, Беренс умеет с ними разговаривать, он в таких случаях находит нужный тон!
72. — Послушай, но это уж слишком! — воскликнул он. — Накидывается на человека и прямо заявляет: «Не ломайтесь!» Это умирающему-то! Нет, это уж слишком! Умирающий в какой-то мере заслуживает уважения. Нельзя же его так, ни с того ни с сего... Ведь умирающий, хочу я сказать, как бы лицо священное... — Не отрицаю, — отозвался Иоахим. — Но если он такая тряпка...
73. — Нет, умирающий — это существо гораздо более благородное, чем какой-нибудь ражий болван, который разгуливает себе по жизни, похотывает, зашибает деньги и набивает пузо. Так нельзя...
74. — Здесь ему следовало бы умолкнуть и подождать, что скажет Ганс Касторп, если бы его это интересовало, ибо он задал определенный вопрос и молодой человек намеревался на него ответить. Но Сеттембрини тут же продолжал
75. Ганс Касторп удивленно рассмеялся, в то же время силясь припомнить, кто же такие Минос и Радамант.
76. — Черт побери, значит, вы не из наших? Вы здоровы и только гостите здесь, подобно Одиссею в царстве теней? Какая смелость — спуститься в бездну, где в бессмысленном ничтожестве обитают мертвые...
77. — Три недели, — сказал Ганс Касторп с несколько кокетливой небрежностью, ибо заметил, что вызывает зависть.
78. Итак, вы кораблестроитель? А знаете ли вы, что сразу выросли в моих глазах? Вот вы сидите передо мной, и вдруг оказывается, что вы представляете собой целый мир труда и практического гения!
79. — Разумеется. И всякое начало трудно. Да и вообще трудна всякая работа, если она заслуживает этого названия, не правда ли?
80. Но это едва ли тот черт, которого вы имели в виду, ибо мой — в превосходных отношениях с трудом. А упомянутый вами — ненавидит труд, он должен его бояться
81. Боже мой, я гуманитарий, homo humanus, и ничего не смыслю в инженерном деле, хотя и отношусь к нему с истинным уважением. Но я понимаю, что теория вашей специальности требует ума ясного и пронизательного, а ее практическим задачам человек должен отдавать себя всего без остатка, разве не так?
82. — В этой области не имею, к сожалению, никакого опыта

83. — Насмешник? Вы хотите сказать, что я зол? Да, я чуть-чуть зол, — отозвался Сеттембрини. — Моя беда в том, что я обречен растрачивать свою злость на столь убогие предметы. Надеюсь, вы ничего не имеете против злости, инженер? Я считаю, что она самое блестящее оружие разума против сил мрака и безобразия. Злость, сударь мой, это душа критики, а критика — источник развития и просвещения.
84. Конечно, я верю в прогресс. Но Вергилий умеет пользоваться прилагательными, как ни один из современных писателей.
85. Сеттембрини говорил не умолкая, и Ганс Касторп хохотал искренне и добродушно над этим неудержимым потоком злословия.
86. причем казалось, что у него настолько зоркий ум и такая ясность духа, что он не может ошибиться хотя бы один раз.
87. Вот вы нашли, что я говорю со злостью. Но если оно и так, то, быть может, у меня определенный педагогический умысел? У нас, гуманистов, почти у всех есть педагогическая жилка. Историческая связь между гуманизмом и педагогикой указывает, господа, и на их психологическую связь. Не следует снимать с гуманиста обязанность воспитывать людей, ее просто нельзя отнять у него, ибо только он может передавать молодежи идеи человеческого достоинства и красоты. Некогда он сменил священника, который в сумрачные и человеконенавистнические эпохи имел дерзость руководить молодежью. Правда, с тех пор, господа, так и не сложился новый тип воспитателя. Мне кажется, что гимназия с гуманитарной программой — называйте меня отсталым, инженер, — но в основном, in abstracto[9], прошу понять меня правильно, я все же остаюсь ее сторонником...
88. Притом невероятно разговорчив, так и перескакивает с одного на другое.
89. взял со стола печатную таблицу, карандаш и книгу — русскую грамматику, — Иоахим изучал русский язык, ибо надеялся, по его словам, что знание русского ему пригодится на службе
90. — Да, когда за ним следишь, за временем, оно идет очень медленно. И я ничего не имею против того, чтобы мерить температуру четыре раза в день. Тут только и замечаешь, какая, в сущности, разница — одна минута и целых семь, при том, что семь дней недели проносятся здесь просто мгновенно.
91. — Ты говоришь «в сущности». Но ты так говорить не можешь, — возразил Ганс Касторп. Он сидел боком на перилах, белки его глаз покраснели. — Время вообще не «сущность». Если оно человеку кажется долгим, значит, оно долгое, а если коротким, так оно короткое, а насколько оно долгое или короткое в действительности — этого никто не знает. — Он не привык философствовать, но сейчас испытывал потребность порассуждать.
92. — Почему же? — возразил Иоахим. — Мы все-таки измеряем его. У нас есть часы и календари, и когда прошел месяц, он прошел и для тебя, и для меня, и для всех нас.
93. — Но ты послушай меня, — остановил его Ганс Касторп и даже поднес указательный палец к помутневшим глазам. — Значит, длина одной минуты такова, какой она тебе кажется, когда ты измеряешь себе температуру? — Одна минута тянется... она длится ровно столько, сколько нужно секундной стрелке, чтобы обежать свой круг.
94. — Но ведь это время может быть самым различным для нашего ощущения. И фактически... я подчеркиваю: фактически, — повторил Ганс Касторп и так сильно нажал указательным пальцем на свой нос, что совсем пригнул его кончик к губе, — движение стрелки есть движение в пространстве, не так ли? Нет, подожди, стой! Значит, мы измеряем время пространством. Но это все равно, как если бы мы захотели измерять пространство временем, — а так его измеряют только совершенно необразованные люди. От Гамбурга до Давоса двадцать часов поездом. А пешком сколько? А в мыслях? Меньше секунды!
95. — Молчи! У меня сегодня мысль работает необычайно остро. Что же такое время? — спросил Ганс Касторп и так решительно отогнул в сторону кончик носа, что кровь от него отхлынула и он побелел. — Может быть, ты объяснишь мне? Ведь пространство мы воспринимаем нашими органами чувств, зрением и осязанием. Хорошо. Ну а каким же

органом мы воспринимаем время? Может быть, ты мне ответишь? Видишь, вот ты и влип. Но как можем мы что-либо измерять, если, говоря по правде, не можем назвать ни одного, ну ни одного его свойства! Мы говорим: время проходит. Хорошо, пусть себе проходит. Но чтобы измерять его... подожди! Чтобы быть измеряемым, оно должно протекать равномерно, а где это сказано, что оно так и протекает? В восприятиях нашего сознания этого нет, мы лишь допускаем равномерность для порядка, и наши измерительные единицы — просто условность.

96. Кресло это, несколько старомодной формы — явная стилизация, ибо оно, бесспорно, было новым,
97. Против него, по ту сторону старухи, сидела еще одна молодая девушка — и прехорошенькая: цветущий румянец, высокая грудь, волнистые темно-каштановые, красиво причесанные волосы, круглые карие детские глаза и маленький рубин на прекрасной руке. Она часто смеялась и тоже говорила по-русски, только по-русски. Ее звали Марусей, как узнал Ганс Касторп. Потом он заметил, что, когда она болтала и смеялась, Иоахим со строгим видом опускал глаза.
98. Ганс Касторп рассматривал обоих с неприсущей ему бесцеремонностью, он сам почувствовал в ней что-то грубое; но именно эта грубость почему-то вдруг доставила ему удовольствие.
99. самостоятельно, вне связи с душой, и воображать о себе невесть что, как при таком беспричинном сердцебиении, — это жутко и мучительно.
100. — Мне ведь нельзя, — ответил Иоахим. — Нам велено как можно больше лежать... Сеттембрини уверяет, что мы проводим всю нашу жизнь в горизонтальном положении, поэтому являемся, так сказать, горизонталами... По-моему, довольно плоская шутка.
101. Однако кузен удержал его, заявив, что уже некогда. Он ненавидел и презирал всякие опоздания. Как можно, говорил Иоахим, добиться чего-нибудь и выздороветь, чтобы служить в армии, если мы настолько безвольны, что не можем даже вовремя являться к столу? Тут он, конечно, был прав, и Гансу Касторпу оставалось только заявить, что хотя он не болен, но ему почему-то ужасно хочется спать. Он лишь поспешно вымыл руки, и они спустились в столовую — в третий раз.
102. В верхней части правого легкого, жаловалась она, у нее хрипы, кроме того, звук под левой лопаткой очень укорочен, и «старикан» сказал, что она должна пробыть здесь еще пять месяцев.
103. И понятно — почему: там место «этой коровы», фрау Заломон из Амстердама, а она даже в будни является к столу декольтированная, и «старикану», должно быть, это очень нравится; но она, фрау Штёр, удивляется, к чему это, ведь во время осмотра он может любоваться ее прелестями сколько угодно.
104. здесь царил прямо-таки львиный аппетит, какой-то неистовый голод, и наблюдать за обедающими можно было бы даже с удовольствием, если бы в этом усердном насыщении не сквозило что-то жуткое и даже отталкивающее.
105. — Я приготовил его для того дня, когда мне наконец надоест вся эта канитель и я буду иметь честь почтительнейше удалиться из этого мира. Все делается довольно просто... Я некоторое время изучал данный вопрос, и теперь мне ясно, как это наилучшим образом обстригать (при слове «обстригать» снова раздается крик). Область сердца исключена... Н
106. Когда Ганс Касторп высморкался, на платке оказалась кровь, но у него не хватило сил задуматься над этим обстоятельством, хотя он страдал некоторой мнительностью и был склонен к ипохондрии.
107. Неудобно целиться... И я предпочитаю немедленно лишиться сознания, а потому всажу такое вот изящное инородное тельце в этот интересный орган... — И господин Альбин поднес указательный палец к своей коротко остриженной белокурой голове. — Надо приставить вот сюда... — Господин Альбин снова извлек из кармана никелированный револьвер и постучал дулом по виску, — вот сюда, над височной артерией... Даже без зеркала можно найти... проще простого...

108. и хотя ему казалось, что господин Альбин все-таки дуралей, он не мог подавить в себе некоторой зависти. Именно это сравнение с гимназической жизнью оказало свое действие
109. если честь имеет немалые преимущества, то их имеет и позор, и тогда они, пожалуй, даже необъятнее. А когда он, для пробы, перенесся в положение господина Альбина и постарался представить себе, что будет, если совсем освободиться от бремени чести и вкушать лишь бездонные преимущества позора, то на миг с испугом ощутил неистовое блаженство, которое заставило его сердце биться еще торопливее.
110. — Боже мой! Неужели все еще первый день! У меня такое ощущение, точно я у вас здесь уже давным-давно.
111. — Сделай одолжение! Надеюсь только, что на этот раз мы не встретим Сеттембрини. Я сегодня больше не могу участвовать в разговорах высокообразованных людей, предупреждаю.
112. — Вы считаете, что я должен уехать? — спросил Ганс Касторп. — Но ведь я только что приехал? Нет, разве можно судить по первому дню?
113. Она пробыла тут года полтора и так обжилась, что даже, когда здоровье ее полностью восстановилось — у нас иногда выздоравливают, бывают такие случаи, — она ни за что не хотела уезжать.
114. Хотя в нем и сочетаются разум и отвага, но нынче вечером он слегка раскис.
115. Он пощупал трубы отопления — они были холодны и мертвы. Он пробормотал что-то насчет того, что если на дворе август, то все-таки стыд и позор не топить, дело же не в названии месяца, а в температуре воздуха, и она такова, что он лично продрог, как пес.
116. Механически и рассеянно выполнял он все маленькие процедуры ночного туалета, составляющие обязанность культурного человека, налил из дорожного флакона в стакан для полоскания рта ярко-красную жидкость, слегка прополоскал горло, вымыл руки мягким и дорогим мылом «Фиалка» и надел длинную батистовую сорочку с вышитыми на грудном карманчике инициалами Г. К.
117. Он был вполне уверен, что немедленно погрузится в сон, но ошибся, и его веки, которые перед тем сами собой смыкались, теперь не хотели закрываться и, как только он их опускал, вздрагивая снова поднимались. Просто он привык ложиться позднее, уговаривал себя молодой человек, да и днем слишком много лежал. Кроме того, где-то снаружи выбивали ковер — что было, впрочем, маловероятно; оказалось, что это бьется его сердце
118. Но когда услышал, что соседи справа и слева закончили вечернее лежание и возвратились в свои комнаты, чтобы заменить горизонтальное положение на воздухе горизонтальным положением в доме, он выразил про себя уверенность, что варварская чета сегодня будет вести себя прилично.
119. Конечно, штатский! — сказал он и без церемоний указательным и средним пальцем гигантской ручищи оттянул веко Ганса Касторпа. — Почтенный штатский, я сразу же заметил. Но не без таланта, отнюдь не без таланта к процессу повышенного сгорания. На годочки не поскупишься, на лихие годочки службы у нас тут наверху!
120. Торопливо закрепил он это открытие в своей памяти, чтобы оно до завтра не исчезло, ибо дремота и сновидения снова начали овладевать им; теперь ему надо было спастись от Кроковского — врач преследовал его, чтобы произвести расчленение его души, а Ганс Касторп испытывал перед подобной процедурой неистовый, прямо-таки слепой ужас.
121. вдруг осенила превосходная мысль о том, что есть время: это всего-навсего «немая сестра», ртутный столбик без всяких цифр, для тех, кто решил плутовать
122. И тогда его опять с головы до ног пронизывает то ощущение бешеного блаженства, которое он испытал, когда постарался представить себе, что освобожден от гнета чести, и вкусил бездонные преимущества греха, — но только в этом сне ощущение блаженства было несравненно более сильным.
123. Дело в том, знаешь ли, что здесь времена года не так уж резко отличаются друг от друга, они как бы путаются и не подчиняются календарю.
124. Один из первых среди современников, знаток нашего языка, каких мало, латинский стилист, каких уже нет, настоящий uomo letterato, в духе Боккаччо...

125. и все, что он говорил, было разумно и прекрасно.
126. Справа — пивовар из Галле, его фамилия Магнус, у него усы — точно пучок сена. «Оставьте меня в покое с вашей литературой, — заявляет он. — Что она изображает? Возвышенные натуры! А на что мне возвышенные натуры? Я человек практический, да и возвышенных натур в жизни почти не бывает». Вот какое у него понятие о литературных произведениях. Возвышенные натуры... О Матерь Божья!
127. А напротив сидит его супруга и все больше теряет белок, так как все глубже погружается в тупоумие. Просто горе и гнусность!
128. действует, такое сочетание, наверно, самая печальная вещь на свете. И совершенно не знаешь, как быть: ведь к больному надо относиться серьезно и с уважением, болезнь — это ведь что-то почтенное, если мне позволено будет так выразиться. Но когда к ней примешивается глупость со всякими «формулюсами», «космическими заведениями» и прочими нелепостями, тут уж не знаешь, как быть — смеяться или плакать; для человеческого чувства возникает дилемма, и притом до того мучительная, что слов не подберешь. То есть не подходят друг к другу болезнь и глупость, несовместимы они! Мы не привыкли представлять их вместе! Принято считать, что глупый человек должен быть здоровым и заурядным, а болезнь делает человека утонченным, умным, особенным. Такова общепринятая точка зрения. Разве нет? Впрочем, я высказываю мысли, которых не смог бы обосновать
129. — Sapristi[12], инженер, да у вас, оказывается, дар к философствованию, вот уж не ожидал! По вашей теории вам следовало быть менее здоровым, чем вы кажетесь, ибо вы, очевидно, умны.
130. когда гармония и здоровье считались чем-то подозрительным, порождением дьявола, а немощ гарантировала пропуск в царство небесное.
131. Но разум и просвещение изгнали эти тени, омрачившие душу человечества, — правда, еще не вполне, еще до сих пор идет борьба, а имя этой борьбе, сударь мой, — труд, земной труд во имя земли, во имя чести и интересов человечества; и каждый день все больше закаляются в этой борьбе те силы, которые окончательно освободят человека и поведут его по пути прогресса и цивилизации, навстречу все более яркому, мягкому и чистому свету. «Черт возьми, — подумал Ганс Касторп, ошеломленный и пристыженный, — вот так хвалебная песнь труду. Чем я ее вызвал? Впрочем, все это звучит довольно сухогато. И что он все твердит о труде? Вечно лезет со своим трудом, хотя труд здесь почти ни при чем!»
132. — Возврат к прошлому, — снова начал Сеттембрини, приподняв зонтик над кем-то проходившим мимо него, — интеллектуальный возврат к прошлому, к воззрениям той мрачной, жестокой эпохи, — поверьте мне, инженер, это тоже болезнь, и она вполне изучена, для нее у науки есть немало терминов — и в области эстетики и психологии, и в области политики, хотя это школьные термины, они ничего не объясняют, и вы охотно бы от них уклонились.
133. напротив, болезнь скорее — унижение, да, и она очень мучительна, очень оскорбительна, она унижает идею человека... Можно в отдельных случаях относиться к болезни бережно, с сочувствием, но уважать ее как особую духовную ценность — нельзя, это заблуждение, — зарубите себе на носу, — и оно служит началом всех умственных заблуждений.
134. Дилемма, сударь мой, вернее, трагедия, начинается там, где природа оказалась настолько жестокой, что нарушила гармонию личности или заранее сделала ее невозможной, связав благородный и жизнеутверждающий дух с непригодным для жизни телом. Вы знаете Леопарди, инженер, или вы, лейтенант? Это несчастный поэт моей страны, горбатый, болезненный. Он был одарен великой душой, но, постоянно оскорбляемая убожеством тела, она опустила в низины иронии, и жалобы этой души разрывают сердце.
135. Блеск славы и добродетели померк для него, природа показалась ему злой, — впрочем, оно так и есть, она зла и глупа, тут я с ним согласен, — и он изверился, — страшно сказать, — изверился в силах науки и прогресса! Вот она где трагедия, инженер!
136. Душа без тела — нечто настолько же нечеловеческое и ужасное, как и тело без души, впрочем — первое редкое исключение, второе — правило. Как правило, тело берет верх

над душой, захватывает власть, захватывает все, что есть жизнь, и отвратительно эмансипируется. Человек, ведущий жизнь больного, — только тело, в этом и состоит античеловеческая, унижительная особенность болезни...

137. В большинстве случаев такое тело ничем не лучше трупа...
138. Если наш инженер сам подметил нечто подобное, это только подтверждает мое предположение, что он дилетантствует в области мысли и, как это присуще одаренной молодежи, пока только экспериментирует с самыми различными воззрениями.
139. Пивовар Магнус, конечно, глуповат со своими «возвышенными натурами», однако Сеттембрини следовало бы все-таки объяснить, что же в литературе основное. Я не спросил, чтобы не компрометировать себя, — ведь я в этом тоже плохо разбираюсь и до сих пор не встречал ни одного литератора. Если для него дело не в «возвышенных натурах», то в «возвышенных словах»; по крайней мере у меня создается такое впечатление, когда я нахожусь в его обществе.
140. Он оппозиционер по натуре, я это сразу понял. И обрушивается на всякий установленный порядок, а в таких людях всегда чувствуется какая-то отверженность, тут ничего не поделаешь.
141. — Это ты так воспринимаешь, — задумчиво ответил Иоахим. — А я вижу в нем что-то гордое, и никакой отверженности; наоборот, он высоко ценит себя и человека вообще, и эта черта мне нравится, в нем есть сознание своего человеческого достоинства.
142. Гансу Касторпу, как бездарному новичку, пришлось немало покряхтеть, прежде чем он, то нагибаясь, то выпрямляясь, научился приемам завертывания. Лишь немногие санаторские ветераны, заявил Иоахим, умеют тремя уверенными движениями захлестывать вокруг себя оба одеяла сразу, но эта редкая и завидная ловкость достигается не только многолетними упражнениями, для нее нужно иметь врожденный талант.
143. Однако неприятные ощущения смягчались удивительно удобным положением, в котором он лежал на этом шезлонге; неопределимые, почти таинственные особенности этого кресла с первого же раза вызвали в нем живейшее удовольствие, и теперь он снова одобрил его конструкцию как в высшей степени удобную. Играла ли здесь роль мягкая обивка, правильный наклон спинки, ширина и высота подлокотников или степень упругости привешенного к изголовью валика — однако трудно было с большей гуманностью обеспечить полный отдых покоящемуся телу, чем давал этот шезлонг. Ганс Касторп был в душе рад, что ему на два часа обеспечен покой; и эти два часа, освященные традиционным распорядком санаторского дня, казались ему, хотя он был здесь наверху всего лишь гостем, вполне разумной мерой. Ибо он был терпелив от природы, мог долго оставаться без всяких занятий, любил, как мы уже видели, иметь досуг и желал, чтобы этот досуг не был спугнут лихорадочной деятельностью, заполнен ею и разрушен.
144. В сущности, странная вещь — это «сживание» с новым местом, это, хотя бы и нелегкое, приспособление и привыкание, на которое идешь ради него самого, чтобы, едва или только что привыкнув, снова вернуться к прежнему состоянию. Такие временные отклонения включаешь в основной строй жизни как интермедию, для разнообразия, для того чтобы «поправиться», то есть для обновляющего переворота в деятельности организма, ибо при однообразном течении жизни организму грозила бы опасность изнежиться, обессилеть, оступеть. В чем же причина этого оступения и вялости, которые появляются у человека, если слишком долго не нарушается привычное однообразие? Причина лежит не столько в физической и умственной усталости и изношенности, возникающих при выполнении тех или иных требований жизни (ибо тогда для восстановления сил было бы достаточно простого отдыха), причина кроется скорее в чем-то душевном, в переживании времени — так как оно при непрерывном однообразии грозит совсем исчезнуть и настолько связано и слито с непосредственным ощущением жизни, что, если ослабевает одно, неизбежно терпит мучительный ущерб и другое. Относительно скуки, когда «время тянется», распространено немало ошибочных представлений. Принято считать, что при интересности и новизне содержания «время бежит», другими словами — такое содержание сокращает его, тогда как однообразие и пустота отяжеляют и

задерживают его ход. Но это верно далеко не всегда. Пустота и однообразие, правда, могут растянуть мгновение или час или внести скуку, но большие, очень большие массы времени способны сокращать само время и пролетать с быстротой, сводящей его на нет. Наоборот, богатое и интересное содержание может сократить час и день и ускорить их, но такое содержание придает течению времени, взятому в крупных масштабах, широту, вес и значительность, и годы, богатые событиями, проходят гораздо медленнее, чем пустые, бедные, убогие; их как бы несет ветер, и они летят. То, что мы определяем словами «скука», «время тянется», — это скорее болезненная краткость времени в результате однообразия; большие периоды времени при непрерывном однообразии съеживаются до вызывающих смертный ужас малых размеров: если один день как все, то и все как один; а при полном однообразии самая долгая жизнь ощущалась бы как совсем короткая и пролетала бы незаметно. Привыкание есть погружение в сон или усталость нашего чувства времени, и если молодые годы живут медленнее, то позднее жизнь бежит все проворнее, все торопливее, и это ощущение основывается на привычке. Мы знаем, что необходимость привыкать к иным, новым содержаниям жизни является единственным средством, способным поддержать наши жизненные силы, освежить наше восприятие времени, добиться омоложения этого восприятия, его углубления и замедления; тем самым обновится и наше чувство жизни. Ту же цель преследуют перемены места и климата, поездки на взморье, в этом польза развлечений и новых событий. В первые дни пребывания на новом месте у времени юный, то есть мощный и широкий, ход, и это продолжается с неделю. Затем, по мере того как «сживаешься», наблюдается некоторое сокращение; тот, кто привязан к жизни, или, вернее, хотел бы привязаться к жизни, с ужасом замечает, что дни опять становятся все более легкими и начинают как бы «буксовать», а, скажем, последняя неделя из четырех проносится до жути быстро и незаметно. Правда, освежение чувства времени действует несколько дольше, и когда мы возвращаемся к привычному строю жизни, оно снова дает себя почувствовать; первые дни, проведенные дома хотя бы после путешествия, воспринимаются как что-то новое, широко и молодо, но очень недолго: ибо с привычным распорядком жизни сживаешься опять быстрее, чем с его отменой, и когда восприятие времени притупилось — от старости или от слабости жизнеощущения, при котором оно никогда и не было развито, — это чувство времени опять очень скоро засыпает, и уже через сутки вам кажется, что вы никуда и не уезжали и ваше путешествие только приснилось вам.

145. — А все-таки забавно, что в чужом месте время сначала ужасно тянется. То есть, разумеется, нет и речи о том, чтобы я скучал, напротив, я скорее мог бы сказать, что развлекаюсь прямо по-королевски. Но когда я оглядываюсь назад, смотрю ретроспективно — только пойми меня правильно, — мне чудится, будто я здесь наверху давным-давно и бог весть сколько времени прошло с той минуты, когда поезд подошел к платформе и ты сказал: «Что же ты не выходишь?» Помнишь? Мне кажется, прошла целая вечность. С обычными измерениями времени и данными рассудка это решительно не имеет ничего общего, тут вопрос особого ощущения. Конечно, было бы глупо, если бы я сказал: мне кажется, я здесь уже два месяца — это было бы просто nonsens'ом[14]. Я именно только говорю — «очень давно».
146. Ганс Касторп был замкнут по природе, кроме того он чувствовал себя здесь гостем и «беспристрастным наблюдателем», как выразился гофрат Беренс, поэтому в основном довольствовался обществом Иоахима и разговорами с ним.
147. при самом поверхностном знакомстве с нею начинало казаться, что под пыткой скуки ее рассудок даже помрачился. Было очень трудно от нее отделаться, ибо, когда она увидела, что разговор подходит к концу и молодые люди намерены продолжать свой путь, она вцепилась в них взглядами, торопливыми словами и полной отчаяния улыбкой; и тогда они, из сострадания, решили постоять с ней еще немного. А она принялась рассказывать во всех подробностях о своем папе — он юрист, и о кузене — он врач, видимо, желая выставить себя в выгодном свете и подчеркнуть, что она принадлежит к образованному обществу.

148. Однако она опять вцепилась в них взглядами и словами, и в этой своей попытке хоть немножко задержать их была так жалка, что не уделить ей еще хоть несколько мгновений было бы просто жестокостью.
149. Затем опять свела разговор на своего папу и на кузена. Ее мозг был, видимо, не способен ни на что другое. Тщетно силясь удержать молодых людей еще хоть на миг, она вдруг заговорила очень громко, стала чуть ли не кричать, но они все же ускользнули от нее и поспешили дальше. Сестра еще некоторое время смотрела им вслед, наклонившись вперед и словно присасываясь к ним взглядом, как будто желая силой этого взгляда заставить их повернуть обратно. Затем из груди ее вырвался тяжелый вздох, и она возвратилась в комнату своего подопечного.
150. Его поразили мешки под ее агатово-черными глазами — тяжелые и отвисшие, он еще никогда таких не видел. От нее исходил легкий аромат увядания. И его душу охватила особая мягкость и серьезность.
151. — Вот видишь, я был очень спокоен и обошелся с ней как надо. Мне кажется, у меня от природы дар обходиться с такими людьми, — верно? Мне даже кажется, что с теми, у кого есть горе, я лажу лучше, чем с теми, у кого все благополучно, Бог его знает почему; может быть, оттого, что я все-таки сирота и слишком рано потерял родителей; но если люди серьезны и печальны и дело идет о смерти — меня это не гнетет и не смущает, я, напротив, чувствую себя в родной стихии и, во всяком случае, лучше, чем когда они бодры и веселы, — это мне более чуждо.
152. Разве вид гроба тебе не нравится? Мне иной раз очень нравится. По-моему, гроб — это вещь прямо-таки красивая, даже когда он пуст, а уж если там кто-нибудь лежит, то для меня это зрелище глубоко торжественное. В похоронах есть что-то утешительное, и мне казалось не раз: когда ищешь утешения — надо идти не в церковь, а на какие-нибудь похороны.
153. пепельный блондин
154. созерцал покрасневшими глазами беззаботную курортную жизнь вокруг себя, причем сознание, что у всех этих людей происходит внутри процесс разрушения, который так трудно остановить, и у большинства легкий жар, не только не мешало, но придавало всему какое-то своеобразие, даже обаяние.
155. — Поздненько же вы приходите, господин Сеттембрини, концерт уже скоро кончится. Разве вы не охотник послушать музыку? — Я не люблю слушать ее ни по команде, ни по календарю, — отозвался Сеттембрини. — Не люблю, когда от нее несет аптекой и она предписывается мне сверху из санитарных соображений. Я, видите ли, все же дорожу той свободой и теми остатками человеческого достоинства, которые у нас тут еще сохранились. И при таких мероприятиях — я лишь гость, как вы гость здесь у нас, только в более широком смысле; забегая на четверть часика, а потом иду опять своими путями. Это дает мне иллюзию независимости... Разумеется, всего-навсего иллюзию, но ничего не поделаешь, раз она доставляет известное удовлетворение.
156. вроде службы. Не правда ли, лейтенант, вы видите в этом как бы часть своих служебных обязанностей? О, я понимаю, вы знаете способ сохранять и в рабстве свою гордость! Фокус, ошеломляющий фокус! Не каждый европеец способен проделать его.
157. А музыка... в ней есть что-то недосказанное, сомнительное, безответственное, индифферентное. Вероятно, вы возразите мне, что в музыке может быть и ясность. Но и природа может быть ясной, какой-нибудь там ручеек... А разве нам от этого легче? Это же не подлинная ясность, а какая-то туманная, ничего не говорящая, ни к чему не обязывающая, ясность без последствий, и потому — опасная, ибо соблазняет нас на ней успокоиться. Придайте музыке патетический характер. Допустим, что она воспламенит наши чувства. Но ведь дело в том, чтобы воспламенить наш разум! Казалось бы, музыка — само движение, но я все-таки подозреваю ее в квиетизме. Позвольте мне выразиться парадоксально: у меня политическая неприязнь к музыке.

158. Но литература, как видно, опередила ее. Сама по себе музыка не двинет мир дальше. Сама по себе музыка — опасна. А лично для вас, инженер, она особенно опасна. Я это сразу понял по вашему лицу, когда вошел.
159. Я сам далеко не так уж музыкален, да и пьесы, которые здесь исполняются, не бог весть что, не классическая и не современная музыка, а просто — духовая. И тем не менее даже такая приятно разнообразит жизнь; удачно заполняет несколько часов; делит их и заполняет каждый, — словом, вносит в них какое-то содержание, а ведь здесь часы, дни и недели обычно пролетают попусту. Видите ли, такой непритязательный концертный номер продолжается, скажем, минут семь, не правда ли, и они что-то составляют для вас, у них есть конец и начало, они выделяются из всего остального и по крайней мере не обречены потонуть в безнадежной рутине здешней жизни.
160. Музыка пробуждает в нас чувство времени, пробуждает способность утонченно наслаждаться временем, пробуждает... и в этом отношении она моральна. Поскольку искусство пробуждает — оно морально. Ну а что, если происходит как раз обратное? Если она оглушает, усыпляет, противодействует активности и прогрессу? Ведь результат может быть и таков, что музыка подействует как наркотик... А это — дьявольское действие, милостивые государи. Этот наркотик от дьявола, ибо он вызывает отупение, неподвижность, скованность, холопскую бездеятельность... Нет, господа, в музыке есть что-то подозрительное. Я остаюсь при своем: у нее двусмысленная природа. И я не преувеличиваю, когда утверждаю, что она политически неблагонадежна.
161. — Русские вечно ездят кататься, — сказал Иоахим Гансу Касторпу; они как раз стояли рядом против главного входа и, чтобы развлечься, наблюдали отъезжающих. — Поедут в Клавадель, или к озеру, или в Флюэлаталь, или в Клостерс. Красивых мест очень много.
162. Все четыре были очень веселы и непрерывно болтали на своем мягком, словно бескостном языке.
163. за обедом было подано chaud-froid из кур с гарниром из раковых шеек и вишен; к мороженому — пирожное в сахарных корзиночках и в заключение — свежие ананасы
164. лекцию доктора Кроковского, которую он читал в столовой два раза в месяц для совершеннолетних больных, владеющих немецким языком и не принадлежащих к числу обреченных смерти. Речь шла, как узнал Ганс Касторп от своего кузена, о ряде связанных между собою докладов, составлявших целый научно-популярный курс под названием «Любовь как сила, вызывающая заболевания».
165. И он решил, что хорошо бы разок вырваться из заколдованного круга санаторской жизни, подышать вольным воздухом, сделать хороший моцион, чтобы почувствовать вечером усталость или по крайней мере знать, откуда она взялась.
166. Ганс Касторп, как и наметил себе, глубоко вдыхал чистый воздух раннего утра, свежий и легкий; этот воздух входил в человека свободно, в нем не было ни влаги, ни содержания, он ни о чем не напоминал...
167. Сначала он мурлыкал себе под нос, потом стал петь все громче и наконец во весь голос. Баритон у него был жидковатый, но сегодня собственный голос показался ему красивым и звучным, и пение все больше воодушевляло его. Высокие ноты он брал фальцетом, но даже фальцет казался ему красивым. Когда память изменяла ему, он пел на знакомый мотив первые попавшиеся бессмысленные слоги и слова, подражая профессиональным певцам, картинно округлял рот и с эффектным рокотанием бросал в пространство букву «р»; в конце концов Ганс Касторп перешел на чистую импровизацию и мелодий и текста, сопровождая свое исполнение оперными жестами.
168. Однако, из идеализма, увлеченный красотой своего пения, он продолжал себя пересиливать, хотя дышал прерывисто и с трудом.
169. шум воды; ибо Ганс Касторп любил ее журчание не меньше, чем музыку, а может быть, и больше.
170. эти столь важные в его жизни минуты, несмотря на их простоту, таили в себе что-то опасное и опьяняющее.

171. делавший его даже привлекательным, но послуживший достаточным основанием для того, чтобы товарищи прозвали его «Киргизом».
172. Кроме того, всякое определение, если оно и не содержит критической оценки, все же вводит свой предмет в круг знакомого и привычного, а Ганс Касторп был проникнут бессознательной уверенностью, что такое внутреннее сокровище надо оберегать от всяких определений и не приобщать к будничному и повседневному.
173. почти целый год, — точно он не мог бы сказать, когда это началось, — втайне носился с ними, что служило доказательством верности и постоянства его натуры, особенно если представить себе, какой это громадный срок в столь юном возрасте.
174. К сожалению, когда мы говорим о тех или иных особенностях характера, в наших словах всегда скрыта моральная оценка, либо хвала, либо порицание, хотя у каждой такой особенности всегда есть две стороны.
175. Что такая просьба будет выглядеть довольно странно — ведь он с Хиппе все-таки незнаком, — этого мальчик не сообразил или махнул на это рукой, так он был захвачен и ослеплен каким-то неожиданно нахлынувшим на него бесшабашным настроением.
176. затем он сошел у переезда через полотно узкоколейки, сунул возчику деньги, не видя, много или мало дает ему, и торопливо стал подниматься по подъездной аллее.
177. голову и внимательно посмотрела на него своими узкими глазами. Это была мадам Шоша. Он узнал ее не без горечи. Вот черт! Неужели ему так и не дадут покоя? Он надеялся наконец, добравшись до места, хоть немного отдохнуть, а теперь она будет все время торчать у него перед носом, случайность, которой он, может быть, при других обстоятельствах даже обрадовался бы; но сейчас, когда он так утомлен и измотан, — зачем это ему? Только лишние волнения для сердца! В течение всей лекции ее соседство будет держать его в напряжении. Она ведь посмотрела на него в точности глазами Пшибыслава, — сначала на лицо, затем на пятна крови, притом довольно бесцеремонно и навязчиво, как и можно было ждать от особы, которая хлопает дверью. Какие у нее дурные манеры! Не так держались женщины в привычных для Ганса Касторпа кругах общества, они сидели прямо, словно аршин проглотили, и повертывали к соседу по столу только голову, а говорили чуть шевеля губами. Мадам Шоша сидела, ссутулившись, вяло опустив плечи, к тому же вытянув вперед шею, так что шейные позвонки резко выступали над вырезом белой блузки. Примерно так же держал голову и Пшибыслав
178. Черты фрау Штёр, сидевшей в задних рядах, выражали столь примитивное упоение, что просто жуть брала
179. Речь шла о некоей силе... о той силе... — словом, о силе любви, вот о чем шла речь. Ну разумеется! Ведь эта тема входила в общий заголовок лекционного курса, да и о чем еще мог говорить доктор Кроковский, если он работал именно в этой области? Правда, Гансу Касторпу было довольно чудно слушать лекцию о любви, ведь до сих пор ему читали только такие курсы, как теория передаточных механизмов в кораблестроении и тому подобное. И как можно было рассуждать о столь стыдливом и сокровенном предмете ясным утром в присутствии дам и мужчин?
180. Доктор Кроковский смешивал два стиля — поэтический и научный, даже сугубо научный; однако говорил нараспев и с воодушевлением, что показалось молодому Гансу Касторпу чем-то неприличным; вероятно, именно поэтому у дам так горели щеки, а мужчины так усердно напрягали слух. Оратор, например, то и дело произносил слово «любовь», но в каком-то зыбком значении, никак нельзя было понять — имеет он в виду нечто возвышенно-добродетельное или страстно-плотское, и эта неустойчивость смысла вызывала легкое подобие морской болезни. Никогда еще в присутствии Ганса Касторпа это слово не повторяли так часто, как сегодня, а когда он начинал думать, ему казалось, что сам он еще ни разу не произносил его и не слышал из чужих уст. Может быть, он и ошибался, — но, во всяком случае, это слово не заслуживало столь настойчивого упоминания. Напротив, эти скользкие два слога с зубным и губными согласными и протяжной гласной во втором слоге начали даже вызывать у него отвращение, точно снятое молоко, голубовато-белое и пресное, особенно в сравнении со всеми теми весьма смелыми

выводами, которые лектор с ним связывал. Гансу Касторпу стало ясно, что если подходить в этому вопросу так, как подходил Кроковский, то можно преподнести публике весьма рискованные штучки, не боясь, что она встанет и покинет зал. Оратор не ограничивался тем, что с ошеломляющим тактом говорил вслух о том, о чем обычно умалчивают, хотя это всем известно: он разрушал одну за другой все иллюзии, беспощадно требовал познания, не оставлял даже уголка для сентиментальной веры в честь седин и в ангельскую чистоту нежного дитяти.

181. говорил он главным образом о пугающих формах любви, странных и мучительных, о ее жутких уклонах и непобедимой власти над человеком. Среди всех естественных влечений, заявил он, любовь — наиболее неустойчивое и опасное, в самой основе своей ведущее к заблуждениям и губительной извращенности; да тут и удивляться нечему, ибо этот мощный импульс вовсе не прост, он по природе своей очень сложен и многогранен; поэтому, как бы он ни был правомерен в целом, все же нельзя не признать, что в состав его входят и противоречия, и извращения. Однако, продолжал доктор Кроковский, люди справедливо не хотят, основываясь на извращенности отдельных его сторон, заключать об его извращенности в целом, поэтому мы вынуждены часть правомерности целого, если и не всю его правомерность, распространять на отдельные извращенные стороны.
182. Но каков же исход борьбы между целомудрием и любовью, ибо речь идет именно об этой борьбе? Она как будто оканчивается победой целомудрия. Страх, приличия, брезгливость целомудрия, трепетная жажда чистоты — все это подавляет любовь, держит ее в оковах и во мраке, не допускает до сознания ее бурные требования и не дает им проявляться, — а если и дает, то лишь частично, не во всем их многообразии и мощи. Однако эта победа целомудрия — пиррова победа, ибо любовному влечению не заткнешь рот, оно не поддается насилию, приглушенная любовь не умирает, она томится под спудом, во мраке и жаждет достичь своего, она разрывает узы целомудрия и появляется вновь в ином, неузнаваемом образе... Но каков же тот образ, какова та маска, под которой вновь появляется изгнанная и подавленная любовь?
183. И тогда доктор Кроковский изрек: «В образе болезни! Симптомы болезни — это замаскированная любовная активность, и всякая болезнь — видоизмененная любовь».
184. Но так как он не привык к столь сложным построениям мысли и, кроме того, после неудачной прогулки его умственные силы как-то сдали, он готов был каждую минуту отвлечься и действительно тут же отвлекся, взглянув на спину, которая была перед ним, и на руку, которая поднялась к затылку, прямо у него перед глазами, чтобы поддержать тяжелые косы.
185. материя на рукавах была тоньше, чем на блузке, — легчайший газ, очертание предплечья проступало сквозь него особенно воздушно и легко, и совсем без покрова оно оказалось бы, вероятно, менее пленительным.
186. И Ганс Касторп грезил, устремив взгляд на руку мадам Шоша. Как женщины одеваются! Они показывают какую-то часть своего затылка и своей груди, окутывают плечи прозрачным газом! Они ведут себя так на всем земном шаре, чтобы пробудить в нас страстное желание. Господи Боже мой, ведь жизнь прекрасна! Она прекрасна потому, что женщины одеваются соблазнительно, — и все люди считают, что так и надо, это повсюду принято и настолько распространено, что никто об этом не думает, никто не возражает, каждый бессознательно мирится с этим. А подумать следовало бы, говорил себе Ганс Касторп: если хочешь радоваться жизни, то надо понять, что этот обычай может дать счастье, это просто сказочный обычай. Конечно, женщины одеваются сказочно и соблазнительно ради определенной цели и не нарушают этим приличий, ибо тут вопрос грядущих поколений, продолжения человеческого рода: все это понятно. Но как быть, если женщина больна и вовсе не пригодна для материнства? Что тогда? Имеет ли для нее смысл носить газовые рукава, чтобы будить в мужчинах любопытство к ее телу — к ее телу, внутри которого сидит болезнь? Очевидно, что это не имеет никакого смысла и должно было бы считаться неприличным и запрещаться. Ведь интерес мужчины к больной

- женщине так же неоправдан, как... ну, скажем, затаенный интерес Ганса Касторпа к Пшибыславу Хиппе. Глупое сравнение, довольно мучительное воспоминание!
187. Оказалось, что в конце доклада доктор Кроковский стал энергично пропагандировать расчленение души и, раскрыв объятия, звал всех прийти к нему. Придите ко мне, говорил он другими словами, все страждущие и обремененные! И, видимо, был глубоко убежден в том, что все без исключения страждут и обременены. Он говорил о скрытых страданиях, о тоске и стыде, об освобождающей силе психоанализа; пел хвалы просветлению подсознания, утверждал, что болезнь снова превращается в аффект, когда он осознан, призывал к доверию, сулил выздоровление.
188. Но, в общем, должен признать, все это обходится скорее дешево, чем дорого, особенно при том, что они за эти деньги дают пациентам.
189. трое служащих сутулились над бумагами, а в соседней комнате, у отдельного застекленного стола, сидело, видимо, более важное лицо, не то управляющий, не то директор, он только поглядывал сквозь монокль холодно-деловитым и испытующим взглядом на клиентов.
190. Пока с молодыми людьми рассчитывались у окошечка кассы, давали сдачу, инкассировали, выписывали квитанции, они молчали и держались строго и скромно, даже подобострастно, как и подобает молодым немцам, которые привыкли переносить свое уважение к чиновнику и канцелярии на каждую служебную комнату и каждую конторскую чернильницу;
191. Как выяснилось, гофрат Беренс не был ни владельцем, ни хозяином санатория — хотя и могло сложиться такое впечатление. Над ним и за ним стояли незримые силы — наблюдательный совет, акционерное общество, и лишь контора являлась выражением их деятельности. Принадлежать к ним было, видимо, весьма неплохо, ибо, по авторитетному утверждению Иоахима, несмотря на высокие оклады врачей и самые либеральные принципы хозяйствования, общество каждый год выдавало своим членам весьма солидные дивиденды. Таким образом, гофрат не был самостоятельным человеком, а всего лишь агентом, чиновником, представителем этих высших сил, — правда, первым и верховным, душою дела, он оказывал решающее влияние на всю его организацию, не исключая управления, хотя как главный врач, конечно, стоял над коммерческой стороной предприятия.
192. уже много лет назад занял место главного врача, занял против воли и вопреки своим жизненным планам: сюда наверх его привела болезнь жены, чьи останки уже давно покоились на сельском кладбище, которое живописно раскинулось по правому склону над деревней Давос, ближе к выходу из долины.
193. Рассказывают, что у Беренса, который ее обожал и был сражен этим ударом, даже появились странности: временами на него находили приступы задумчивости, идя по улице, он начинал хихикать, жестикулировать и говорить с самим собой, привлекая внимание прохожих. После смерти жены он не вернулся туда, где жил раньше, а остался в Давосе, — вероятно, еще и потому, что не хотел разлучаться с ее могилой; однако решающей оказалась менее сентиментальная причина: он сам сильно сдал и, как специалист, находил, что его место здесь.
194. Поэтому-то он и поселился окончательно в этих местах, присоединившись к тем врачам, которые являются для пациентов, находящихся под их наблюдением, как бы товарищами по несчастью, ибо одни врачи, будучи здоровы, борются с болезнью как бы с независимых позиций своей незатронутости, другие сами отмечены ею; это особый, однако далеко не редкий случай, имеющий и свои преимущества, и свои трудности. Разумеется, товарищество врача и больного надо приветствовать, и недаром говорится, что только больной может быть наставником и целителем больного. Но способен ли по-настоящему, духовно управлять какой-либо силой тот, кто принадлежит к ее рабам? Может ли освободиться тот, кто сам находится в подчинении? Для обычного человеческого восприятия больной врач остается парадоксом и загадочным явлением. Быть может, знание данной болезни изнутри, в результате личного опыта не столько обогащает, сколько

затуманивает и сбивает с толку? Такой врач не способен смотреть болезни в глаза ясным взором противника, решительно стать на чью-либо сторону — он связан; поэтому следует спросить со всей необходимой осторожностью, может ли тот, кто принадлежит к миру больных, быть заинтересован в исцелении или хотя бы оберегании других в том же смысле, как и человек здоровый?..

195. а иногда, в перерывах между кушаньями, ставил на него даже локоть и поддерживал голову ладонью, хотя сам считал это невоспитанностью, допустимой только в распушенной среде больных.
196. Ганс Касторп отлично знал, что то постыдное явление, с которым он борется, имеет не только физическую причину, оно вызвано не только здешним воздухом и трудностями акклиматизации — нет, оно результат какой-то глубокой душевной взволнованности
197. лицемерное равнодушие — лицемерное по недостатку актерского опыта и дарования, и притом плохо разыгранное
198. Да, прелестная женщина, избалованное создание, оттого и небрежна. Таких людей нельзя не любить, хочешь не хочешь, даже когда сердиться на них за небрежность, даже этот гнев усиливает нашу преданность, ведь такое счастье чувствовать, что сердиться и все-таки не можешь не любить...
199. Какая-то несамостоятельность вызывала в нем потребность слышать со стороны подтверждение, что да, мадам Шоша действительно прелестная женщина; ему хотелось получить поддержку извне, чтобы отдалиться тем чувствам и ощущениям, против которых восставали его разум и его совесть.
200. единственное ее преимущество перед Гансом Касторпом состояло в том, что она была родом из Кенигсберга — это не так уж далеко от русской границы — и могла произнести несколько слов по-русски, — убогое преимущество
201. Или она считает это мещанством — носить обручальное кольцо, — оно слишком простое, гладкое. Нет, у нее, наверное, шире размах... Я знаю, в русских женщинах, в их натуре есть какая-то свобода, широта... А в таком кольце чувствуется что-то прямо-таки отстраняющее и отрезвляющее, это же символ — мне хочется сказать — рабства, оно сразу придает женщине черты монахини, она становится чистым цветочком — «не тронь меня». И ничего нет удивительного, если это ей не по душе...
202. Вероятно, тут причина и в муже, раз ей так не хочется быть с ним вместе. Хотя фамилия у него и французская, но он все-таки русский чиновник, а ведь это ужасно грубый народ, эти русские чиновники, поверьте мне. Я однажды видела такого типа, у него были железного цвета бакенбарды и багровое лицо... Они страшные взяточники, и потом все пьют вутку — ну, спирт, понимаете...
203. Ради приличия заказывают немножко какой-нибудь еды, ну там несколько маринованных грибочков или кусочек осетрины, и потом пьют без всякой меры. Называется это у них «закуска»...
204. — Вы валите все на него, — сказал Ганс Касторп. — Ведь мы не знаем, может быть в ней причина того, что они плохо живут? Надо же быть справедливым. Достаточно посмотреть на нее, и потом эта манера грохать дверь... И ничуть она не ангел, пожалуйста, не обижайтесь, но я не доверяю ей вот настолько. А вы не можете судить непредубежденно, вы ослеплены своим пристрастием и решили, что во всем права она...
205. она же со своей стороны допускала эти шутки — во-первых, из инстинктивной страсти к сводничеству, во-вторых, оттого, что в угоду молодому человеку действительно слегка втюрилась в мадам Шоша и, кроме того, испытывала какое-то убогое наслаждение, когда он дразнил ее и заставлял краснеть. Оба все это отлично угадывали и в себе и друг в друге, ощущали в этой путанице что-то нечистоплотное. Но, хотя Гансу Касторпу были противны всякая путаница и нечистоплотность, — отталкивали они его и в данном случае, — он все же продолжал купаться в этой грязи, успокаивая себя тем, что ведь он здесь наверху случайный гость и скоро опять уедет.
206. — А ведь ваша Клавдия катает хлебные шарики, я только что видел. Не слишком изысканно!

207. — Смотря по тому, кто катает, — ответствовала учительница. — Клавдии это идет.
208. Ведь столь простенькая песенка могла бы удовлетворить и порадовать разве что какого-нибудь молодого человека, который «подарил», как принято выражаться, свое сердце самым благонамеренным и мирно-надежным образом какой-нибудь цветущей дурынде там внизу, на равнине, и теперь предается благонамеренным, надежным, разумным и, в основе своей, самодовольным чувствам.
209. Теперь уже нельзя было сказать, что оно колотится по собственной инициативе, без причины и без всякой связи с его душевным состоянием; подобная связь существовала, во всяком случае, ее нетрудно было установить и оправдать экзальтированную физическую деятельность сердца определенными движениями души. Достаточно было Гансу Касторпу подумать о мадам Шоша, — а он думал о ней, — и он испытывал чувство, соответствующее сердцебиению.
210. Мучило его отнюдь не то, что время ползет; напротив, он начинал опасаться, что конец его пребывания в санатории надвинется слишком быстро.
211. Да, время — загадочная штука, и что оно такое — понять очень трудно!
212. Однако, если она считает это мальчишеством, она ошибается. У него потребность в более утонченных чувствах.
213. Но так как подобный маневр был явно направлен против него, он подтверждал, что между ними, бесспорно, существуют какие-то взаимоотношения, хотя бы в отрицательной форме;
214. между их жизнями лежит пропасть и настоящей строгой критики эта молодая особа не выдержит.
215. Ганс Касторп был рассудителен и потому лишен всякого личного высокомерия; но высокомерие более общего и глубинного порядка было буквально написано у него на лбу и в несколько сонливых глазах, и от него веяло чувством такого превосходства, которое он, наблюдая за мадам Шоша и ее манерами, не мог, да и не желал отбросить.
216. И все-таки он пытался слегка подталкивать судьбу, придумывал то одно, то другое, внося в ее намерения свои поправки.
217. Но так как он хотел порисоваться, то делал вид, будто и не подозревает о ее присутствии и живет своей жизнью, полной энергичной независимости, засовывал руки в карманы пиджака, без всякой нужды поводил плечами или громко откашливался и бил себя при этом кулаком в грудь — все это только чтобы выказать полную непринужденность.
218. И он возвращался обратно, чтобы встретиться с «Клавдией» лицом к лицу, а это было нечто совсем иное, чем когда она шла впереди или позади него, нечто более опасное и полное более острого очарования.
219. этот склад нравился ему больше всего на свете, чуждый и характерный (ибо только чуждое кажется нам характерным)
220. в душе у него совершались какие-то смутные инстинктивные движения, которые можно было бы назвать поисками ощупью, вслепую, потребностью в помощи; он перебирал в душе ряд лиц, мысль о которых могла бы послужить ему поддержкой.
221. упрасывая поскорее отпустить его вниз, на «равнину», как больные с легким, но явным презрением именовали мир здоровых людей.
222. Стремясь достичь этой цели и сэкономить время, с которым здесь обращались столь расточительно, Иоахим вносил в исполнение лечебной повинности присущую ему добросовестность; делал он это, конечно, ради собственного исцеления, но, как иногда подозревал Ганс Касторп, отчасти и ради самой повинности: ведь это была служба не хуже всякой другой, а долг есть долг.
223. и та тревога, которая заставляла его искать совета и поддержки, снова просыпалась в нем.
224. Ведь гофрат Беренс уже сед и годится ему в отцы. Кроме того, он глава этого учреждения, высший авторитет, а Ганс Касторп испытывал беспокойную душевную потребность в отеческом авторитете. И все-таки, когда он пытался мысленно отнестись к гофрату с детским доверием, это ему не удавалось.
225. Беренс похоронил в Давосе жену, — горе, которое сделало его, между прочим, немного чудаковатым, — а потом так и остался в этих местах, оттого что здесь была ее могила, да и

его собственное здоровье пошатнулось. Вылечился ли он? Здоров ли он теперь и полон ли недвусмысленной решимости излечивать людей, чтобы они могли как можно скорее возвращаться на равнину и служить? Его щеки всегда были синими, и, в сущности, выглядел он так, словно у него повышенная температура.

226. Сеттембрини ведь сам назвал себя педагогом, — очевидно, он желал оказывать влияние; а юноша Ганс Касторп горячо желал, чтобы на него влияли, — правда, в меру, а не так, как это имело место на днях, когда Сеттембрини совершенно серьезно порекомендовал ему уложить чемоданы и уехать отсюда раньше срока.
227. Этот господин Магнус только что прочел нам лекцию о психологии народов.
228. А тут сидит против меня бедное создание с кладбищенскими розами на щеках, этакая старая дева из Зибенбюргена, и говорит без умолку о своем зяте, которого ни один человек не знает и знать не хочет.
229. Ах, это прямо танталовы муки. Толкаешь, толкаешь — и думаешь, вот ты уже наверху... — О, как это благородно с вашей стороны! Наконец-то вы даруете бедному Танталу хоть какое-то разнообразие. В порядке обмена вы предоставляете ему возможность покатать знаменитый камень.
230. Значит, вы лежали согласно велениям долга, разума и режима.
231. Вы же раздвоились! Во всяком случае, вы заснули, и земная часть вашего существа лежала на балконе, спиритуальная же вкушала общество капитана Миклосича и его безе...
232. Уж не знаю, кто шепнул мадам Шнеерман словечко, во всяком случае до нее дошел слух насчет того, что сынок усердно служит Вакху *et ceteris*[22]. И вот, без всяких предупреждений, она появляется здесь, настоящая матрона — на три головы выше меня, седая и гневная, — не говоря худого слова, закатывает господину Антону несколько оплеух, хватая его за шиворот и тащит на станцию. «Если уж ему суждено, — говорит она, — то с таким же успехом он может погибнуть и у нас внизу». И увозит его домой.
233. Ибо если Лодовико, по его собственному горькому признанию, вынужден был в своем злословии ограничиваться людьми и их жизнью в интернациональном санатории «Берггоф», насмешливо критикуя во имя прекрасной и радостно-деятельной человечности их узость и мешанство, — его дед доставлял немало хлопот правительствам
234. Кроме того, деятельность повстанца и заговорщика была у этого дедушки, видимо, тесно связана с горячей любовью к отечеству, которое он жаждал видеть единым и свободным; да и сама бунтарская его деятельность явилась плодом и результатом такой любви; хотя кузенам и казалось странным это сочетание в одном лице мятежника и патриота, ибо они привыкли отождествлять любовь к отечеству с обереганием традиционных порядков, все же им пришлось в душе согласиться, что там и при тогдашнем положении дел такое бунтарство могло быть гражданской добродетелью, а лояльность и приверженность к старым порядкам — косным равнодушием к жизни общества.
235. Однако дед Сеттембрини был не только итальянским патриотом, он был согражданином и соратником всех народов, жаждущих свободы, ибо после крушения попытки к государственному перевороту, предпринятой в Турине, — он принимал в ней участие словом и делом, причем едва ускользнул от ищеек Меттерниха, — дед употребил свое изгнание на то, чтобы бороться и проливать свою кровь в Испании за конституцию и в Греции — за независимость эллинов.
236. дедушка Джузеппе при жизни появлялся среди своих сограждан только в черной траурной одежде, ибо, как он заявил, он страдалец за Италию, свою родину, прозябающую в рабстве и нищете.
237. Он добросовестно старался не осуждать сразу же то, что ему казалось чуждым, а ограничиваться сравнениями и определениями.
238. дед Сеттембрини сражался за политические права, его же собственный дед или во всяком случае предки деда и были теми, кто владел первоначально всеми этими правами; но за четыре века мятежная чернь с помощью хитроумных речей и насилия вырвала у них эти права... И тот и другой неизменно ходили в черном, дед северный и дед южный, и оба делали это, чтобы подчеркнуть строгое расстояние между собой и неприемлемой для

каждого современностью. Но один одевался так из праведности, во имя прошлого и умершего, которому он принадлежал всем существом; другой же, напротив, из бунтарства, во имя враждебного всякой праведности прогресса.

239. И вот, когда Ганс Касторп греб, скользя по тихой воде, в течение каких-нибудь десяти минут все вокруг показалось ему вдруг необычайно странным, какой-то фантазмагорией. На западе еще царил день, и там был разлит трезвый и жесткий, бесспорно, дневной свет, но достаточно было повернуть голову, и он видел так же бесспорно волшебную, затканную влажными туманами лунную ночь. Эта удивительная двойственность продолжалась самое большее четверть часа, потом победили ночь и луна; но взор Ганса Касторпа, пораженный и зачарованный, с радостным изумлением переходил от одного ландшафта и освещения к другому, от дня к ночи и от ночи снова к дню. Этот вечер ему невольно сейчас и вспомнился.
240. все же пытался понять, что имеет в виду Сеттембрини, называя эту основу «источником свободы и прогресса». До сих пор молодой человек разумел под этим нечто вроде развития подъемных механизмов в девятнадцатом веке; причем сам Сеттембрини и его дед, видимо, вполне оценивали значение таких вещей, как техника. Итальянец высоко ставил отечество своих двух слушателей. Немцы, говорил он, изобрели не только порох, превративший в хлам броню феодализма, но и печатный станок, а он сделал возможным демократическое распространение идей, то есть распространение демократических идей. За это Сеттембрини и восхвалял Германию, хотя в отношении прошлого почитал справедливым отдать пальму первенства своей стране, ибо, в то время как другие народы еще прозябали во мраке суеверия и рабства, она подняла знамя борьбы за прогресс, науку и свободу. Но если он и отдавал должную дань уважения технике и развитию путей сообщения — области, в которой работал Ганс Касторп, — и уже высказывался в этом смысле при первой встрече с кузенами у скамьи над обрывом, все же почитал он эти силы не ради них самих, а ради их значения для морального совершенствования человека, и он счастлив, что может приписать им такое значение, ибо техника все больше подчиняет себе природу и, создавая средства сообщения, сеть дорог и телеграфной связи, помогает преодолению климатических различий и показывает, что она надежнейшее средство для сближения народов: техника способствует их более тесному знакомству, выравнивает различия между людьми, разрушает предрассудки и должна привести к всеобщему объединению. Первоначально человеческий род вышел из мрака, страха и ненависти, но сияющим путем движется он вперед и ввысь к конечному состоянию симпатии, внутренней ясности, навстречу добру и счастью. И на этом пути техника — самое передовое орудие развития.
241. Однако в своих утверждениях Сеттембрини отважно, точно одним махом, соединял такие категории, которые Ганс Касторп привык до сих пор мыслить раздельно, как очень далекие друг от друга. «Техника и мораль!» — провозгласил Сеттембрини. А потом действительно заговорил о христианстве и о Спасителе, впервые принесшем как откровение идеи равенства и единства, причем печатный станок весьма мощно способствовал распространению этих идей, а великий революционный переворот во Франции возвел их в закон. Однако при этих словах молодой Ганс Касторп по какой-то не определенной причине вдруг почувствовал, что он вполне определенно сбит с толку, хотя все это было изложено Сеттембрини совершенно ясно и без обиняков.
242. могло считаться величием духа или хотя бы благородной крайностью, — когда, например, дед Сеттембрини назвал баррикады «престолом народа» и заявил, что «копье гражданина» должно быть «освящено на алтаре человечества».
243. Отвратительные разглагольствования невоспитанной фрау Штёр продолжались до тех пор, пока не кончилась эта короткая, но сытная трапеза
244. А я только что участвовал в неравном поединке между ножом, операционной пилой и человеческим организмом — великое дело, знаете ли, резекция ребер! Раньше, бывало, пятьдесят процентов оставались на операционном столе. Теперь все это делается лучше, но и сейчас иные господа нередко раньше времени убираются отсюда *mortis causa*[25]. Н у, сегодняшней хоть шутки понимал, молодцом держался...

245. Ну как можно говорить «вводите в себя пищу, приятного аппетита»? Что за галиматья! Можно сказать «кушайте, приятного аппетита», «кушайте» — слово, так сказать, поэтическое, ну как «хлеб наш насущный», и вполне уместно. Но «вводите пищу» — голая физиология, и желать тут аппетита можно только в насмешку.
246. Сеттембрини уверяет, что эта бесшабашная веселость — напускная, а у Сеттембрини критический ум, меткие суждения, в этом ему не откажешь. И мне следовало бы глубже разбираться в людях и не принимать все за чистую монету, тут он прав.
247. Всегда он стремился к тому, чтобы тело у него было крепкое, гораздо больше, чем я, или во всяком случае иначе; я ведь в душе человек сугубо штатский и заботился о том, чтобы теплее была вода в ванне, да как бы повкуснее поесть и выпить, а он старался быть мужчиной, добиваться чисто мужских успехов. И вот теперь его тело действительно, хотя и не совсем так, как он представлял себе, заняло главное место и приобрело решающее и самостоятельное значение, и это сделала болезнь. Оно охвачено жаром, не желает освободиться от инфекции и окрепнуть, как бы страстно бедняга Иоахим ни мечтал о том, чтобы стать солдатом внизу, на равнине. Вот он, статен видом, как сказано в Писании, настоящий Аполлон Бельведерский, до последнего завитка волос. Но внутри у него сидит болезнь, и снаружи он весь горячий от болезни; болезнь делает человека гораздо более телесным, в болезни человек становится только телом...»
248. В конце концов здесь уж не так плохо, отдайте нам хоть справедливость, у нас не каторга и не... сибирские рудники!
249. Ганс Касторп изменился в лице, а Иоахим, намеревавшийся пристегнуть помочи, остановился и, словно оцепенев, прислушался...
250. Но хочу вас сразу же предупредить: такие случаи, как ваш, не излечиваются за один-два дня, о рекламных успехах и чудесах исцеления здесь говорить не приходится.
251. Теперь нам предстоит коснуться одного обстоятельства, которому считает нужным удивиться сам рассказчик, чтобы уж не слишком удивлялся читатель.
252. Но сейчас достаточно будет, если каждый вспомнит, как быстро проходит вереница дней, даже «долгая» вереница, когда ты болен и лежишь в постели; кажется, будто повторяется все тот же день; но так как он один и тот же, говорить о «повторении» не слишком уместно; речь должна бы идти о неизменном, о непреходящем «сейчас» или о вечности. Тебе приносят за обедом суп, как принесли вчера, как принесут и завтра.
253. Однако говорить в отношении вечности о скуке и о том, что время тянется, было бы слишком парадоксально; а парадоксов мы решили избегать, особенно живя одной жизнью с нашим героем.
254. при всей несложности его внутреннего мира мысли и чувства его были какие-то противоречивые, смутные, запутанные, не вполне искренние и устойчивые.
255. меня порой даже тянуло стать священником — ради всех этих скорбных и возвышенных обрядов: этакий, понимаешь ли, черный покров с серебряным крестом и тремя буквами R. I. P...Requiescat in pace...
256. — Нового ничего... Сегодня была сплошная химия, — неохотно начал рассказывать Иоахим. — Кроковский заявил, что при «этом», видишь ли, происходит как бы своего рода отравление, самоотравление организма, а его причина — какое-то неведомое, распространившееся по всему телу вещество. Оно распадается, продукты распада действуют одурманивающе на некоторые центры спинного мозга, и люди точно пьянеют, примерно так, как это бывает при постоянном употреблении наркотиков — морфия или кокаина.
257. Они опять болтали о том о сем, и Иоахим еще успевал полежать до второго завтрака, причем время пролетало так быстро, что даже самый пустой и духовно убогий человек не успел бы соскучиться, а ведь у Ганса Касторпа не было недостатка в умственной пище — ему предстояло еще разобраться во всех впечатлениях первых трех недель, проведенных здесь наверху, осознать свое теперешнее положение и возможные его последствия; поэтому два толстых тома подшивки иллюстрированного журнала из библиотеки санатория лежали пока без употребления на его ночном столике.

258. Ну, не совсем половина, точнее — всего четверть. Но такие четверти при круглых цифрах в счет не идут, они просто поглощаются ими, как это бывает, когда временное хозяйство ведется в крупных масштабах, при многочасовой езде по железной дороге или если люди ничем не заняты, кроме ожидания, и все их помыслы страстно сосредоточены лишь на том, чтобы время скорее проходило и оставалось позади. Тогда четверть третьего — это все равно что половина третьего, а с Божьей помощью — и три, раз уже упоминалось число три. Тридцать минут рассматриваются как затакт к целому часу, а потому не замечаются внутренним взором: именно так бывает при подобных обстоятельствах.
259. буква «р» хотя и звучала у него несколько экзотически, с упором в нёбо, но отнюдь не раскатисто, ибо он лишь слегка прикоснулся языком к внутренней стороне верхних зубов.
260. у меня тогда и мысли не было ни о каком экссудативном очажке, я разумел другое, в более общем, философском смысле, и высказал сомнение в том, что «человек» вообще и «совершенное здоровье» — понятия совместимые.
261. Для меня это явление вторичное... Органические явления всегда имеют вторичный характер...
262. укороченный и искусственно убыстренный день буквально растекался между пальцев и становился ничем; Ганс Касторп весело это отмечал как что-то удивительное или во всяком случае заставляющее призадуматься, ибо в его годы это не могло пугать его. Ему только чудилось, что он «все еще» вглядывается в загадку времени.
263. насколько ему известно, никто уезжать не намерен, да и вообще здесь это не так просто — взял да уехал.
264. Так как он только что отобедал, то, по обыкновению, держал во рту деревянную зубочистку.
265. Я здесь лишний и, как видите, это вполне понимаю. Но все же мы живем с вами на таком маленьком клочке земли, что невольно у человека к человеку рождается сочувствие, духовное сочувствие, сердечное сочувствие...
266. Большое спасибо, субъективно — чувствую себя самым нормальным образом. Насморк почти прошел в результате лежания, но ведь он, как тут все говорят, явление вторичное... Температура все еще не такая, как полагается, то 37,5, то 37,7, за эти дни она еще не снизилась.
267. Проходит второй месяц, она твердит, что самочувствие ее становится не лучше, а хуже. Ей внушают, что только врач может судить о том, каково ее состояние на самом деле; она же может говорить лишь о своих субъективных ощущениях, а это в счет не идет.
268. Да, чего только не бывает в жизни. Век живи — век учись.
269. — А вы — отчаянный критикан и маловер, это бесспорно! Вы даже не верите в точные науки.
270. — Кто богат, а кто и нет. Если нет, то тем хуже. Я? Конечно, я не миллионер, но что мое — то мое, я независим, у меня есть на что жить.
271. Как вы сказали? Флегматики? И вместе с тем энергичны? Хорошо, но что это означает? Жестки, холодны. А что такое жесткость, холодность? Это жестокость. Самый воздух там внизу жестокий, неумолимый. Когда вот так лежишь и смотришь издали, просто ужас берет.
272. Вы понимаете, инженер, что это значит: «пропасть для жизни»? Я-то знаю, мне приходится это наблюдать здесь ежедневно. Самое большее через полгода каждый молодой человек, приезжающий сюда наверх (а сюда приезжают, как правило, только молодые люди), уже не помышляет больше ни о чем, кроме флирта да градусника. А самое большее через год он уже не может и воспринимать никаких иных мыслей, они кажутся ему «жестокими», или, вернее говоря, ошибочными и основанными на невежестве.
273. и вот он лежал целыми днями с градусником во рту и ни о чем другом знать не хотел. «Вы этого не понимаете, — говорил он. — Надо пожить там наверху, тогда узнаешь, что именно нужно. А у вас тут внизу нет основных понятий». Кончилось тем, что мать заявила: «Возвращайся наверх. Тут тебе больше делать нечего». И он сюда вернулся. Возвратился «на родину», — вы же знаете, те, кто здесь пожил, называют эти места своей «родиной». С

- молодой женой они стали совсем чужими, у нее, видите ли, не было «основных понятий», и ей пришлось от него отказаться. Она увидела, что «на родине» он найдет себе подругу с одинаковыми «основными понятиями» и останется там навсегда.
274. И хотя я этого не ожидал, но, в сущности, не очень удивился: здоровым как бык я себя никогда не чувствовал, да и мои родители умерли слишком рано... Я, знаете ли, с детства круглый сирота...
275. — Вы хотите сказать, — подхватил он, — что раннее и неоднократное соприкосновение со смертью создает некое устойчивое душевное состояние, при котором в человеке развивается особая чувствительность и восприимчивость к грубости и беспощадности неразумной земной суеты, скажем — к ее цинизму.
276. — Позвольте! Позвольте мне, инженер, сказать вам и настоятельно подчеркнуть, что единственно здоровая и благородная, а также — я особенно обращаю ваше внимание — единственно религиозная форма отношения к смерти в том, чтобы видеть и ощущать в ней неотъемлемую часть и некое священное условие жизни, но не что-то противоположное ей, здоровью, благородству, разуму и религии, что-то духовно отличное от жизни, противостоящее и враждебное ей. Древние украшали свои саркофаги символами жизни и зачатия, даже непристойными изображениями — ибо для древнего религиозного сознания священное весьма часто сочеталось с непристойным. Эти люди умели чтить смерть. И смерть достойна почитания как колыбель жизни, как материнское лоно обновления. Но когда ее отторгают от жизни, она становится призраком, страшной личиной — и даже кое-чем похуже... Ибо смерть как самостоятельная духовная сила — это в высшей степени распутная сила, чья порочная притягательность, без сомнения, очень велика, но влечение к этой силе, бесспорно, является самым жестоким заблуждением человеческого духа.
277. У него было такое чувство, словно ему прочли нравоучение, одернули, даже побранили, и в его молчании сквозила чисто мальчишеская упрямая обида.
278. Мы говорили также о нейтральности и умственной нерешительности молодежи, о ее возможности свободно выбирать, о ее склонности производить опыты с самыми разными образными точками зрения и о том, что подобные попытки еще нельзя — да и не нужно — рассматривать как окончательную, серьезно продуманную систему взглядов, за которую отвечаешь перед жизнью. Разрешите мне, — Сеттембрини наклонился вперед, поставив рядом ступни и зажав руки между колен, вытянул шею и слегка повернул голову вбок, — разрешите мне и в дальнейшем, — продолжал он, улыбаясь, и в его голосе даже зазвучало легкое волнение, — разрешите мне при ваших поисках и экспериментах оказывать вам некоторую помощь и влиять на вас в должном направлении, если вам будут угрожать пагубные выводы?
279. — Ну и педагог! — заявил он. — Педагог-гуманист, этого у него не отнимешь. Он все время старается воздействовать на тебя то разными историями, то отвлеченными рассуждениями. И в конце концов начинаешь говорить с ним о таких вещах!.. Никогда не подумал бы, что о них можно говорить или хотя бы понять их, и если бы я встретился с ним там, на равнине, я действительно их не понял бы, — добавил он.
280. Ганс Касторп при отъезде не захватил с собой календаря, по этому не всегда представлял себе, какое же сегодня число. Время от времени он осведомлялся об этом у двоюродного брата, хотя и тот иной раз не мог дать уверенного ответа. Все же воскресные дни, особенно те, когда бывали концерты, — а они имели место два раза в месяц, и молодой человек прослушал здесь не один такой концерт, — воскресные дни служили как бы ориентиром; во всяком случае, было ясно, что уже наступил сентябрь, и даже более того, что он наполовину уже прошел.
281. — Какого черта, разве вы уже отлежали свой срок? — удивился Беренс. — Ну-ка, покажите: действительно, вы правы. Господи, как время-то летит!
282. Фрау Штёр, например, невзирая на всю свою глупость и невежество, все-таки была, без сомнения, гораздо более тяжело больна, чем он, уж не говоря о докторе Блюменколе.
283. И нужно было не иметь никакого понятия о рангах и дистанциях, создаваемых болезнью, чтобы вести себя иначе. Поэтому Ганс Касторп держался с непритязательной скромностью,

тем более что это соответствовало духу данного учреждения. На легкобольных здесь не очень-то обращают внимание, — он в этом убедился из многих разговоров. О них отзывались с презрением, на них смотрели свысока, ибо здесь были приняты иные масштабы, — и смотрели свысока не только те, кто был в чине тяжело и очень тяжело больных, но и те, кого болезнь затронула лишь слегка; правда, они этим как бы выражали пренебрежение к самим себе, зато, подчиняясь здешним масштабам, становились на защиту более высоких форм самоуважения. Черта вполне человеческая.

284. — Ну конечно нет, какие там дети. И зачем такой женщине дети? Вероятно, ей строжайшим образом запрещено иметь их, а с другой стороны — что это были бы за дети? — И Ганс Касторп не мог с этим не согласиться.
285. Удар был нанесен метко. Несмотря на все старания Ганса Касторпа, лицо его судорожно исказилось: не помогли никакие «вот оно что» и «подумать только», которыми он отозвался на эту новость; и в этих словах тоже была какая-то искаженность. И так как Ганс Касторп был не в силах отнестись к существованию упомянутого соотечественника с подобающей легкостью, хотя вначале и старался сделать вид, будто это его ничуть не трогает, он то и дело возвращался к этому знакомству, расспрашивая ее дрожащими губами:
286. Вкус, который выказал гофрат при выборе модели, слишком уж совпадал со вкусами самого Ганса Касторпа, чтобы он поверил в простоту и невинность, хотя синие щеки гофрата и его выпученные глаза с красными жилками, пожалуй, и не давали оснований для таких подозрений.
287. Ходили слухи, что он очень религиозен, — случай, впрочем, нередкий среди больных здесь наверху и вполне понятный.
288. Таким образом, и это открытие только усилило волнения Ганса Касторпа, хотя жалостная влюбленность мангеймца не могла встревожить его в том же смысле, в каком тревожили свидания Клавдии Шоша с гофратом Беренсом, человеком, столь превосходившим его и возрастом, и яркостью своей личности, и положением в обществе.
289. у нее опять вскочил ячмень — не мог же это быть тот самый; видимо, причины столь невинного, но уродливого недомогания крылись в особенностях ее организма
290. При этой мысли Ганс Касторп отвернулся, на его лице появилось выражение добродетельной и достойной омраченности, ибо даже наедине с собой он считал необходимым напустить на себя эти чувства.
291. Но он не знал, в ходу ли здесь такого рода любезности и не является ли прием в порядке строгой очередности более благородным, чем рыцарские расшаркивания.
292. — Да, это, конечно, очень интересно! — отозвался гофрат. — Весьма полезное наглядное пособие для молодых людей. Световая анатомия, понимаете ли, победа новой эпохи. Вот женское предплечье. Сразу угадаешь по его миловидности. Такой вот ручкой они обнимают нас в часы нежных свиданий!
293. — Сначала нужно промыть глаза темнотой, чтобы увидеть такие вещи, это же ясно, — продолжал он.
294. — Картина ясна, — сказал гофрат. — Приличная худоба, как и полагается молодым военным. Но были у меня тут такие пузатые — прямо непроницаемые, ну ничего не рассмотришь. Сначала надо бы открыть особые лучи, которые пробивали бы такую толщу жира...
295. человек украшает им свое тело, а этому телу суждено под ним истаять, и перстень освобождается и переходит к другой плоти, которая опять будет некоторое время носить его. Глазами своей тинапелевской родственницы взглянул он на столь знакомую часть своего тела, глазами, проникающими насквозь, предвидящими, и впервые за свою жизнь понял, что умрет.
296. И пока Ганс Касторп торопливо одевался, гофрат Беренс поделился с молодыми людьми своими наблюдениями, применяясь к уровню понимания этих непосвященных.
297. Итак, спокойствие, терпение, подобающее мужчине самообладание, измерять температуру, есть, лежать, ждать, а сейчас идти пить чай.

298. если оглянуться назад, то время, прожитое здесь, ощущалось им как неестественно короткое и вместе с тем неестественно долгое, не ощущалось оно только таким, каким было в действительности, — при том условии, что ко времени применимо слово «естественно» и что его связь с понятием «действительность» закономерна.
299. Вот и лету конец, поскольку его можно назвать летом, — оно обмануло, как обманывает вся жизнь в общем и целом. — Она вздохнула половиной своего легкого и, покачав головой, подняла к потолку затуманенные глупостью глаза.
300. — Не верьте им, инженер, не верьте, когда они бранят санаторий! Они все это делают, без исключения, хотя чувствуют себя здесь лучше, чем дома. Ведут жизнь лодырей и еще требуют, чтобы их жалели, заявляют о своем праве на горечь, иронию, цинизм! В этом увеселительном заведении! А что, разве это не увеселительное заведение? И притом в самом сомнительном смысле слова! «Обманывает», заявляет эта особа; в этом увеселительном заведении ее, видите ли, жизнь обманывает! Но отпустите-ка ее вниз, на равнину, и она, без сомнения, будет вести себя так, чтобы как можно скорее вернуться сюда наверх. Ах да, еще ирония! Остерегайтесь процветающей здесь иронии, инженер! Остерегайтесь вообще этой интеллектуальной манеры! Если ирония не является откровенным классическим приемом ораторского искусства, хоть на мгновение расходитя с трезвой мыслью и напускает туману, она становится распущенностью, препятствием для цивилизации, нечистоплотным заигрыванием с силами застоя, животными инстинктами, пороком.
301. Ганс Касторп в своей понятливости дошел до того, что стал критически относиться к словам итальянца или хоть в какой-то мере удерживался от того, чтобы с ними тут же соглашаться. «Вон что, — думал про себя молодой человек, — он говорит об иронии в точности как и о музыке, не хватало еще, чтобы он и иронию объявил политически неблагонадежной, — а именно с той минуты, когда ирония перестает быть откровенным и классическим приемом назидания. Но ирония, которая ни на мгновение не расходитя с трезвой мыслью, что же это, с позволения сказать, за ирония, если уж на то пошло? Сухая материя, прописная истина!»
302. Так бывает неблагоприятна молодежь в тот период, когда формируется ее личность. Ее одаряют, а она опорочивает полученные дары.
303. — И болезнь, и отчаяние — это нередко тоже особые формы распущенности.
304. — Психоанализ хорош, если он — орудие просвещения и цивилизации, хорош, поскольку он расшатывает глупые взгляды, уничтожает врожденные предрассудки, подрывает авторитеты, — словом, хорош, когда он освобождает, утончает, очеловечивает и делает рабов зрелыми для свободы. И он вреден, очень вреден, поскольку тормозит деяние, подтачивает корни жизни оттого, что не в силах дать ей форму. Такой анализ может стать делом весьма не аппетитным, столь же не аппетитным, как смерть, с которой он, собственно говоря, и связан, — он сродни могиле и ее подозрительной анатомии...
305. — Ах, сплошь парфяне и скифы! — Вы хотите сказать — русские? — Русские — мужчины и женщины, — ответил Сеттембрини, и уголок его рта дрогнул. — До свидания, инженер.
306. письмо это закрепляло за Гансом Касторпом свободу. Вот то слово, которое он употребил — не буквально, нет, он про себя не произнес даже первого слога, но ощутил всю широту его смысла, как уже ощущал не раз за свое пребывание в «Берггофе», причем смысл этот имел очень мало общего с тем, какой вкладывал в понятие «свобода» Сеттембрини; и тогда на него нахлынула волна уже знакомого страха и возбуждения, и грудь его при вздохе содрогнулась.
307. В действительности время не делится на отрезки, при наступлении нового месяца или года не разражается гроза, не гремят трубы и даже приход нового столетия отмечают только люди стрельбой из пушек и трезвом колоколов.
308. Помимо нескольких посаженных на территории курорта кленов, которые доживали свою летнюю жизнь и уже давно малодушно растеряли листву, здесь больше не росло лиственных деревьев, которые могли бы придать ландшафту черты, отвечающие действительному времени года, и лишь двуполая альпийская ольха, меняющая свои мягкие

иглы, как листья, была обнажена по-осеннему. В основном же местность украшали одни вечнозеленые хвойные леса, то высокоствольные, то низкорослые, но все равно стойкие по отношению к зиме, которая, не имея четких временных границ, могла здесь шуметь своими снежными метелями весь год; и только по богатству ржаво-красных оттенков в лесах можно было, несмотря на жгучее летнее солнце, догадаться, что год близится к концу. Правда, если взглядеться в луговые цветы, то и они неслышно говорили о том же.

309. люди и предметы, виделось ему как бы сквозь хмельной туман, порожденный его же мозгом; наверное, и гофрат Беренс, и доктор Кроковский объявили бы такой туман продуктом растворяющихся ядов, как говорил себе и сам затуманенный, хотя такое признание не вызывало в нем ни сил, ни малейшей охоты покончить с опьянением.
310. Ибо хмель этот привлекателен сам по себе, и меньше всего желает захмелевший отрезветь, трезвость ему ненавистна; он отталкивает от себя все впечатления, ослабляющие его силу, не допускает их до себя, лишь бы сохранить это состояние.
311. И, как сказал Сеттембрини, эта болезнь не причина или следствие «распущенности», а и есть сама эта распущенность.
312. Моралист типа Лодовико Сеттембрини назвал бы такое отсутствие воли прямо-таки распущенностью, «особой формой распущенности». Ганс Касторп не раз вспоминал его чисто литературные словоизлияния по поводу связанного с болезнью «отчаянья»; итальянец никак не мог этого понять или делал вид, что не может.
313. не чувствовал ни малейшего искушения погрызть заусенцы (хотя бы потому, что взамен ему была дарована «Мария Манчини»)
314. Они ели с ножа и неописуемо пачкали в туалете.
315. Но тут вот какая загвоздка, заявил он однажды Иоахиму: начинаешь с возмущения и высокомерия, а потом вдруг в это врезается что-то совсем другое, не имеющее никакого отношения к критической способности суждения, и — конец всяким педагогическим воздействиям, никакое красноречие, никакие республиканские проповеди на тебя уже не действуют. Однако, зададим мы вопрос, — вероятно, в том же смысле, как и Лодовико Сеттембрини, — что же именно врезается, что парализует и сводит на нет критические суждения, что отнимает у человека право на них и даже побуждает его самого отречься с нелепым восторгом от этого права? Мы спрашиваем не о термине — он известен каждому; мы хотим знать, каковы моральные особенности подобного явления, хотя, откровенно говоря, не надеемся получить достаточно мужественного ответа. Что касается Ганса Касторпа, то эти особенности сказались в том, что он не только отрёкся от всяких критических суждений, но и сам приступил к соответствующим опытам, подражая манерам некоей особы, которая все это в нем вызвала. Он решил узнать, что ощущаешь, когда сидишь за столом не прямо, а опустив плечи и согнув спину, и нашел, что такая поза дает большое облегчение тазовым мышцам. Затем попробовал, проходя в дверь, не притворять ее аккуратно за собой, а предоставить ей захлопнуться, причем и это оказалось очень удобным и как будто даже вполне естественным.
316. Проще говоря, оказалось, что наш путешественник по уши влюблен в Клавдию Шоша, — мы еще раз пользуемся этим словом, ибо, как нам кажется, в достаточной мере предотвратили возможность его лжетолкований.
317. Развивая нашу повесть, мы, как и любой человек, считаем себя вправе иметь собственные домыслы и высказываем предположение, что Ганс Касторп едва ли продлил бы свое пребывание здесь наверху сверх намеченного срока даже на один день, если бы его скромной душе открылся в глубинах времен хоть какой-то удовлетворительный ответ на вопрос о смысле и целях его служения жизни.
318. Что касается остального, то влюбленность дарила его всеми страданиями и радостями, какие подобное состояние чувств приносит человеку повсюду и при всех условиях. Боль проникает вглубь, в ней, как и во всякой боли, есть что-то позорное, и сопровождается она таким потрясением нервной системы, что дух захватывает и даже у взрослого мужчины на глазах выступают горькие слезы. Но и радостей, надо отдать справедливость, было немало,

- и хотя их мог дать любой пустяк, потрясали они не меньше, чем страдания. Почти каждая минута бергтофского дня могла принести их.
319. Нет, никогда бы Ганс Касторп не испытал такой опьяняющей, немислимой радости, если бы это была встреча с какой-нибудь цветущей дурындой, которой бы он там внизу, на равнине, законно, мирно и с видами на будущее, как поется в той песенке, подарил свое сердце.
320. Мы описываем будничные мелочи, но и будничное становится необычным, если возникает на основе необычного.
321. тоже пододвинул ей лакированный стул, и все это потому, что, беседуя втроем, легче было присоваться.
322. и с выражением глубокого равнодушия, почти презрения, именно презрения, остановились на его желтых ботинках; потом она опять холодно отвела глаза, может быть, с глубоко затаенной усмешкой.
323. После этого случая Ганс Касторп целых два дня жестоко страдал, ибо за это время не произошло ничего, что могло бы пролить бальзам на его плавающую рану.
324. Мы хотели бы напомнить и подчеркнуть, что тому состоянию, в каком находился Ганс Касторп, присуще нетерпеливое стремление обнаружить свои чувства, желание сознаться и признаться в них, слепая одержимость самим собой и жажда заполнить своей личностью весь мир — тем более непонятная для нас, трезвых людей, чем меньше во всем этом смысла, разума и надежды.
325. а ждать — значит обгонять, значит чувствовать время и настоящее не как дар, а как препятствие, значит, отвергая их самостоятельную ценность, упразднить их, духовно как бы через них перемахнуть. Говорят, что, когда ждешь, время тянется. Но вместе с тем — и это, пожалуй, ближе к истине — оно летит даже быстрее, ибо ожидающий проглатывает большие массы времени, не используя их и не живя ради них самих. Можно было бы сказать, что человек, занятый одним лишь ожиданием, подобен обжоре, пищеварительный аппарат которого прогоняет через себя массы пищи, не перерабатывая ее и не усваивая ее питательных и полезных элементов. И эту мысль можно было бы продолжить: как непереваренная пища не укрепляет сил человека, так же не делает его более зрелым и время, проведенное в пустом ожидании. Правда, в действительности чистого, пустого ожидания не бывает.
326. она довольно широко раскрывала рот, а ее раскосые серо-зеленые глаза над широкими скулами так суживались, что оставались только щелки. Это ее отнюдь не красило, но «какая есть, такая есть», для влюбленного эстетические суждения разума столь же мало убедительны, как и моральные.
327. Есть люди, которые так и не могут здесь привыкнуть, меня двоюродный брат предупредил, как только я приехал. Но ведь привыкаешь даже к тому, что не можешь привыкнуть.
328. — Сложный процесс, — рассмеялся итальянец, — странный способ обретать у нас права гражданства. Конечно, молодежи все дается легче. Она не привыкает и все-таки пускает корни.
329. — И потом здесь же в конце концов не сибирский рудник. — Нет, конечно. О, вы предпочитаете восточные сравнения. Вполне понятно. Азия затопляет нас. Куда ни глянешь — всюду татарские лица. — И Сеттембрини украдкой посмотрел через плечо. — Чингисхан, — продолжал он, — снега и степи, волчьи глаза, в ночи и водка, кнут, Шлиссельбург и христианство. Следовало бы здесь, в вестибюле, воздвигнуть алтарь Палладе Афине, пусть защитит нас. Видите, там впереди какой-то Иван Иванович без белья спорит с прокурором Паравантом. Каждый уверяет, что он стоит впереди в очереди за письмами. Не знаю, кто из них прав, но, мне кажется, богиня должна быть на стороне прокурора. Правда, он осел, но хоть знает латынь.
330. Не повторяйте того, что говорят все вокруг вас, а высказывайте суждения, какие подобает иметь при европейских формах жизни! В здешней атмосфере, между прочим, слишком много Азии — недаром тут так и кишит типами из московитской Монголии. Вон те люди, — и Сеттембрини показал подбородком через плечо на толпившихся в вестибюле больных,

— не ориентируйтесь вы в душе на них, останавливайте себя, не позволяйте себе заражаться их взглядами, напротив, — противопоставляйте им свою сущность, свою более высокую сущность, и свято берегите то, что для вас, сына Запада, божественного Запада, сына цивилизации, по натуре и по происхождению свято, например — время! Эта щедрость, это варварское безудержное расточение времени — чисто азиатский стиль, — может быть, поэтому сынам Востока так и нравится здесь. Вы не заметили, что когда русский говорит «четыре часа», это все равно что кто-нибудь из нас говорит «один»? Разве небрежность этих людей в отношении времени не связана с безмерностью пространства, которое занимает их страна? Там, где много пространства, много и времени — недаром про них говорят, что это народ, у которого есть время и который может ждать. Мы, европейцы, не можем. У нас слишком мало времени, так же как слишком мало пространства в нашей благородной и столь изящно поделенной части света, мы вынуждены хозяйничать экономно и стремиться использовать и то и другое, использовать, слышите, инженер! Возьмите в виде прообраза хотя бы наши большие города, эти центры, эти очаги цивилизации, эти котлы, где кипит человеческая мысль! И так же как там земля все дорожает и расточение пространства становится все более невозможным — в той же мере — заметьте это себе — дорожает и время. *Carpe diem!* — это сказал столичный житель! Время — дар богов, поймите это, инженер, — дар богов, данный человеку, чтобы он использовал его, использовал ради человеческого прогресса

331. Правда, раньше Ганс Касторп иногда позволял себе такие ответы — отчасти для того, чтобы сохранить в глазах общества видимость равенства; однако гуманист еще ни разу с такой настойчивостью не подчеркивал нарочитую педагогичность своих высказываний; поэтому ничего не оставалось, как выслушать его увещания, теряясь, как школьник, которому прочли строгую мораль.
332. — Вы страдаете, инженер! — заговорил он снова. — Вы страдаете, как заблудившийся человек, — это ясно каждому. Но даже ваше отношение к страданию должно быть отношением европейца, а не азиата, ибо Восток слишком мягок и склонен к болезни, а потому здесь так щедро и представлен... Сочувствие и бесконечное терпение — вот его способ относиться к страданию. А это не может, не должно быть вашим способом!..
333. покрытые дубовой панелью стены
334. Изучаются проблемы оздоровления нашей расы, испытываются методы борьбы с вырождением, которое является, бесспорно, одним из следствий развивающейся индустриализации. Далее Лига ставит себе целью открытие народных университетов, преодоление классово-борьбы с помощью всех тех социальных улучшений, которые могут способствовать этому, и, наконец, путем развития международного права она надеется добиться прекращения войн и столкновений одного государства с другим. Как видите, стремления Лиги благородны и всеобъемлющи.
335. Боже мой, как мне хотелось туда поехать, принять участие в совещаниях! Но этот плут гофрат запретил мне поездку под угрозой смерти, и, что поделаешь, я испугался смерти и не поехал.
336. Нет ничего мучительнее, когда органическая, животная сторона нашего существа мешает нам служить разуму.
337. «Союз содействия прогрессу», памятуя о своей основной задаче, состоящей в достижении счастья для всего человечества, другими словами — в том, чтобы победить человеческие страдания при помощи целеустремленного социального труда, а в дальнейшем и окончательно их искоренить, — памятуя также о том, что эта величайшая задача может быть разрешена только с помощью социологической науки, конечная цель которой — создание совершенного государства, — Союз решил приступить к выпуску в Барселоне многотомного издания, назвав его «Социология страданий», в котором все человеческие страдания будут приведены в систему с исчерпывающей полнотой и ясностью, классифицированы и распределены по родам и видам! Вы спросите: какой смысл в этих родах, видах и системах! А я отвечу: порядок и отбор — первый шаг к познанию, ибо страшнее всего тот враг, который неведом. Необходимо вывести человеческий род из

примитивной стадии страха и терпеливой тупости и направить его по пути целеустремленной деятельности. Надо разъяснить ему, что бороться с теми или иными явлениями можно, лишь предварительно познав их причины и устранив их, и что почти все страдания отдельной личности вызваны заболеваниями социального организма. Хорошо! Вот в этом и состоит задача «Социальной патологии». Примерно в двадцати томах словарного формата она перечислит и опишет все случаи человеческих страданий, какие только можно установить, — от самых личных и интимных до больших групповых конфликтов, до страданий, проистекающих из классовой борьбы и международных столкновений, укажет на те химические элементы, из многообразного смешения и сочетания которых возникают решительно все человеческие страдания, и, руководствуясь идеей достоинства и счастья всего человечества, это издание, во всяком случае, даст ему в руки те средства и мероприятия, которые помогут устранить самые источники страданий. Признанные специалисты из европейского ученого мира, врачи, экономисты, психологи примут участие в работе над этой энциклопедией страдания, а главная редакционная коллегия в Лугано явится как бы резервуаром, в который будут стекаться соответствующие статьи. Я читаю в ваших глазах вопрос о том, какая же роль во всем этом предназначена мне? Дайте мне кончить! Это грандиозное издание не обойдет и художественные произведения, поскольку их предмет — именно страдание человека. Поэтому предусмотрен отдельный том, в котором для утешения и назидания будут помещены обзор и краткий анализ всех шедевров мировой литературы, где изображен тот или иной конфликт; вот та задача, которая в этом письме возлагается на вашего покорного слугу.

338. Что касается художественного творчества, — продолжал он, словно теряясь взглядом в дали того многообразия, которое ему предстояло охватить, — то оно избирает, почти как правило, тему страдания, и даже произведения второго и третьего разряда занимаются им.
339. Вы знаете, с каким восхищением я отношусь к вашей профессии, но так как она — профессия практическая, а не интеллектуальная, то вы, в отличие от меня, можете заниматься ею только, живя там, внизу. Лишь на равнине можете вы быть европейцем, активно, согласно своим возможностям побеждать страдание, служить прогрессу, использовать время.
340. Бегите из этого болота, с этого острова Цирцеи, вы недостаточно Одиссей, чтобы безнаказанно пребывать на нем! Скоро вы будете ходить на четвереньках, вы уже склоняетесь к земле и готовы пасть на передние конечности, скоро вы захрюкаете — берегитесь!
341. — Я умею ценить находчивый ответ, хотя ваша логика весьма близка к софистике. Мне противно спорить, хотя здесь это принято, о том, кто болен тяжелее.
342. Но я сдался вовсе не с безоговорочной покорностью, мой дух самым решительным образом и с гордым негодованием протестовал против власти моего жалкого тела. Не знаю, просыпается ли в вас этот протест, когда вы подчиняетесь требованиям здешних властей, или вы, наоборот, следуете зову своего тела и слишком охотно поддаетесь его губительным влечениям.
343. — А почему вы так против тела? — торопливо перебил его Ганс Касторп и изумленно посмотрел на него своими голубыми глазами с покрасневшим белком.
344. — Вы ведь гуманист? Как же вы можете порицать человеческое тело?
345. Гуманист ли я? Ну, конечно. И вам не удастся обвинить меня в склонности к аскетизму. Да, я утверждаю, что и люблю человеческое тело, так же как утверждаю, что и люблю форму, красоту, свободу, радость и наслаждение, как защищаю «этот мир», интересы жизни, а не сентиментальное бегство от нее, защищаю классицизм, а не романтику. Полагаю, что моя позиция совершенно ясна. Но есть одна сила, один принцип, перед которым я преклоняюсь, которому отдаю мое высшее и глубочайшее почитание и любовь; эта сила, этот принцип — дух. И хотя мне претит, когда противопоставляют телу некое сомнительное, лунно-струнное видение или привидение, именуемое «душой», — но в антитезе тела и духа я считаю, что тело воплощает в себе злое, дьявольское начало, ибо тело — это природа, а природа, противопоставленная духу, разуму, — повторяю! — зла, мистична и зла. «Вы ведь

гуманист». Да, конечно, ибо я друг человека, как был им Прометей, я поклонник человечества и его благородства. Однако благородство это заключено в духе, в разуме, и вы будете совершенно не правы, выдвинув против меня упрек в христианском обскурантизме...

346. — ...Будете не правы, выдвинув этот упрек только потому, что гуманизм в своей благородной гордости однажды объявил прикованность духа к телесности, к природе, унижением и позором. Согласно преданию великий Плотин говорил, что ему стыдно иметь тело; знаете вы об этом?
347. Видите, инженер, вот вам и враждебность духа к природе, гордое недоверие к ней, возвышенное упорство в отстаивании своего права на критику и самой природы, и ее злой, противной разуму силы. Ибо она — сила, и принимать ее, мириться с ней, — заметьте, внутри самого себя мириться с ней, — значит быть рабом. Вот вам и та гуманность, которая вовсе не впадает в противоречие с самой собой и отнюдь не возвращается к христианскому ханжеству, если она видит в телесности злой и враждебный принцип. Противоречие, которое вы здесь усматриваете, такого же порядка, как и в моем отношении к психоанализу: «Что я имею против психоанализа?» Да ничего, когда он служит делу воспитания, освобождения и прогресса... И все, если я чувствую в нем отвратительный привкус могилы. Так же и с телом. Его нужно чтить и защищать, когда речь идет об его эмансипации и красоте, о свободе ощущений, о счастье, о наслаждении. И его следует презирать, поскольку оно является началом тяжести и косности, противостоит движению к свету, становится воплощением болезни и смерти, поскольку его специфический принцип есть принцип извращенности, принцип разложения, сладострастия и стыда...
348. Мы тут затеяли разговор, по-моему — даже немного поспорили. Он неплохо парирует, ваш кузен, и отнюдь не безобидный противник, если его задеть за живое.
349. Со стороны Иоахима это было деспотизмом. Ведь они же все-таки не сиамиские близнецы. Они могут и разлучаться, если их желания не совпадают. И Ганс Касторп здесь не для того, чтобы развлекать Иоахима, он сам — пациент.
350. Пусть его привыкание здесь наверху свелось лишь к тому, что он привык к непривыканию,
351. А моральное удовлетворение еще усиливало физическое блаженство.
352. Но ведь страх и праздничная приподнятость не исключают друг друга. Парнишка, которому предстоит впервые взять девчонку, тоже боится, и она боится, и все-таки они тают от блаженства.
353. При этом его пальцы дрожали; нет, он решительно нервничал.
354. В квартире было несколько комнат, обставленных в банальнейшем стиле буржуазных квартир, с окнами на долину, все — проходные и разделенные не дверями, а только портьерами: столовая в «старонемецком» стиле, кабинет с письменным столом, над которым висела студенческая шапочка и две скрещенных рапиры, с пушистым ковром, книжными шкафами и диваном, затем «курильная» в «турецком» стиле.
355. Все это было написано в манере какого-то беспардонного дилетантизма, лихо наляпантыми мазками, причем нередко казалось, что краску выдавливали прямо из тюбика на холст, так что она потом долго не сохла, — при грубых ошибках этот прием иной раз помогает. Точно на выставке ходили кузены вдоль стен, рассматривая плоды творчества хозяина, а он время от времени уточнял какой-нибудь сюжет, но больше молчал и, наслаждаясь их вниманием, с горделивым смущением мастера останавливал взгляд то на одном, то на другом произведении, на котором останавливались взгляды гостей.
356. — Верно, Шоша. Очень приятно, что вы нашли сходство. — Удивительное! — врал Ганс Касторп, не столько от неискренности, сколько от сознания, что не будь у него рыльце в пушку, он так и не узнал бы, кто на портрете изображен, — как не узнал бы и Иоахим, добрый, обманутый Иоахим, ибо двоюродный брат перехитрил его; но сейчас после тумана, который напустил Ганс Касторп, Иоахим прозрел, окончательно прозрел.
357. Мадам Шоша казалась лет на десять старше, как бывает обычно на дилетантских портретах, когда художник гонится за характерностью. В лице было чересчур много красного, нос совсем не удался, цвет волос был передан неверно — какой-то слишком

соломенный, — рот кривился, художник так и не уловил общей прелести этого лица, или ему не удалось передать ее, он слишком огрубил его основные черты; в целом это была довольно посредственная мазня и, как портрет, имела лишь отдаленное отношение к оригиналу.

358. во всяком случае, эффект этот достигался довольно грубыми средствами.
359. И все-таки похвала Ганса Касторпа была справедливой.
360. Впрочем, мы описываем лишь впечатления Ганса Касторпа; но пусть он искал и жаждал именно таких впечатлений, все же следует самым серьезным образом подчеркнуть, что декольте мадам Шоша заслуживало гораздо большего внимания, чем все висевшие в этой комнате раскрашенные гофратом полотна.
361. а в-третьих, попытаться высказать собственную, чрезвычайно дорогую ему и многообещающую философскую мысль.
362. все это только разные стороны одного и того же важного... главнейшего интереса, а именно — интереса к человеку, — словом, все это гуманитарные профессии, и если кто хочет отдаться им, то прежде всего изучает древние языки, что называется, ради формального образования. Вы, может быть, удивлены, что я так об этом говорю, ведь я всего-навсего реалист, техник. Но я совсем недавно, во время лежания, думал: как это, знаете ли, удивительно, как замечательно устроено на свете, что в основу любой гуманитарной профессии положен момент формообразующий, идея формы, прекрасной формы, — это вносит что-то благородное, что-то большее, и, кроме того, известное чувство и... какую-то учтивость...
363. Беренс и Иоахим смотрели на него с удивлением, спрашивая себя, что это за импровизация и неужели ему не стыдно. Но Ганс Касторп был слишком увлечен и не смущался.
364. Но ведь греческие скульпторы мало интересовались головой, их прежде всего привлекало тело, как раз в этом, может быть, и сказывался гуманизм...
365. Так, значит, женские пластические формы — это прежде всего жир?
366. — Жир! — решительно ответил гофрат
367. У женщин эта ткань толще и жирнее всего на груди, на животе и на бедрах, словом, на всех местах, которые являются соблазном для сердца и руки. На ступнях она тоже жирная, и они боятся щекотки.
368. Ведь древние, кажется, изображали нечто подобное на своих гробницах. Для них непристойное и священное в известном смысле составляли одно.
369. — Да, — отозвался Беренс, — раздражение есть раздражение. А на содержание этого раздражения телу в высшей степени наплевать. Что пескари, что причастие — сальные железы все равно приподнимаются.
370. Вечно говорят о крови и ее тайнах, называют ее особым соком. Но вот лимфа — это, знаете ли, действительно всем сокам сок, квинтэссенция, молоко крови, драгоценнейшая жидкость — при усиленном питании жирами она действительно становится похожей на молоко.
371. — Ну, а жизнь? — Тоже. То же самое, юноша. Она тоже окисление. Ведь жизнь в основном это всего-навсего кислородное сгорание клеточного белка.
372. — И если интересуешься жизнью, — сказал Ганс Касторп, — то ведь тем самым интересуешься и смертью, правда? — Ну, некоторая разница все-таки есть. Жизнь — это когда, несмотря на обмен веществ, форма сохраняется. — А зачем она сохраняется? — спросил Ганс Касторп.
373. Но как теперь оказывалось, это означало, что он проведет здесь и Рождество, и в этой мысли было что-то пугающее, хотя бы уже потому — но и не совсем потому, — что он этот праздник еще ни разу не проводил на чужбине, а всегда только на родине, в кругу семьи. Что ж! С Богом! Ничего не подделаешь! Он же не мальчик, Иоахим с этим ведь тоже мирится и подчиняется без всякого нытья, да и потом — где и в каких только условиях люди не встречали Рождество!
374. Хотя Ганс Касторп уже научился проделывать подобные фокусы, он еще не привык к столь размашистому стилю в обращении со временем, к какому привыкли более давние обитатели санатория. Такие этапы в прохождении года, как праздник Рождества, видимо,

- представлялись им трамплинами и трапециями, с которых можно было совершать вольтижировку через пустые отрезки времени.
375. Ганс Касторп для вкуса обычно добавлял туда еще немного коньяку.
376. но главным образом его удерживали здесь вялость и возбуждение, которые овладевали им одновременно: вялость тела, нежелание двигаться и деятельное возбуждение мозга
377. Время от времени появлялась книга или номер журнала, которые пациенты рвали друг у друга из рук, и даже те, кто уже давно не читал, с лицемерной флегматичностью старались завладеть ими.
378. в ней развивалась философия плотской любви и сладострастия в духе светского и жизнерадостного язычества.
379. Супруг-пивовар признал, что из этой книжки все же почерпнул кое-что и для себя, но очень сожалел, что ее прочла фрау Магнус, ибо от такого рода писаний женщины только становятся безнравственными и у них возникают нескромные представления о любви. Отзыв пивовара еще больше разжег в публике желание прочесть книгу.
380. Может быть, существовали исключения, может быть, некоторые больные и заполняли часы обязательного лежания серьезной умственной работой и плодотворно изучали какую-либо науку, хотя бы для того, чтобы не терять связи с жизнью на равнине или придать ходу времени некоторую утяжеленность и глубинность, чтобы оно не оставалось чистым временем, то есть просто ничем.
381. Они стоили дорого — научные труды вообще стоят дорого, — цена еще была проставлена на внутренней стороне обложки или на суперобложках. Он спросил, почему Ганс Касторп, если уж он заинтересовался такими книгами, не попросил у гофрата — у того, наверно, большой выбор, и он охотно дал бы их почитать. Но Ганс Касторп возразил, что хочет иметь собственные, ведь и читаешь совсем по-другому, когда книга твоя; потом он любит делать пометки и подчеркивать карандашом. С тех пор Иоахим слышал, как Ганс Касторп, лежа на своем балконе, часами разрезает сброшюрованные листы.
382. читал с тревожным интересом о жизни и ее святой и нечистой тайне.
383. Что же такое жизнь? Никто этого не знает. Никому не ведома та точка сущего, в которой она возникла и зажглась. Но начиная с этого мгновения ничто в сфере жизни уже не являлось непосредственно данным или мнимо опосредствованным. Однако сама жизнь казалась чем-то непосредственно данным. И если о ней что-либо и можно было сказать, то лишь следующее: ее строение должно быть столь высокоразвитым, что в мире неорганической материи мы не найдем ничего, хотя бы отдаленно напоминающего жизнь.
384. Ибо смерть являлась лишь логическим отрицанием жизни: но между жизнью и неорганической природой зияла пропасть, и исследователи делали тщетные попытки перекинуть мост через нее, старались заполнить эту пропасть всякими теориями, однако она заглатывала их без следа, и ни глубина, ни ширина ее от этого не уменьшались.
385. Оно не было материальным и не было духом, а чем-то промежуточным, феноменом, несомым материей, подобным радуге над водопадом или пламени. Но, не будучи материальным, этот феномен был чувственным до сладострастия и до отвращения, полным бесстыдства материи, ставшей самоощущающей и воспринимающей раздражения, некоей распутной формой бытия.
386. И вот человеческий зародыш, скрючившись, покоился в чреве матери, хвостатый, решительно ничем не отличаясь от зародыша свиньи, у него была огромная кишка, бесформенные, подобные обрубкам конечности, зародыш зачатком лица склонялся к пупку; и наука, чьи представления о человеке были суровы и отнюдь для него не лестны, изображала его развитие как беглое повторение истории целого зоологического периода. У него временно были жабры, как у ската. На основе тех стадий развития, через которые он проходил, было дозволено, даже необходимо воссоздать не слишком человеческий образ зрелого человека доисторических времен.
387. В те времена глаза его были защищены еще третьим, мигающим веком и находились по обе стороны головы, причем имелся еще третий глаз, во лбу, — его рудиментарной формой

- является в нашем мозгу шишковидная железа; этот глаз, очевидно, предназначался для того, чтобы оберегать человека от нападения сверху.
388. научила его латинским названиям, которыми медицина, эта ветвь гуманитарных знаний, галантно и даже благородно их обозначила
389. Было бы, конечно, наивным считать, что инженерная наука, законы механики могут быть приложены и к органической природе, но столь же необоснованным было бы и утверждение, что никакой связи между ними не существует.
390. Принцип полого цилиндра, например, осуществлялся в строении длинных трубчатых костей таким образом, что при строжайшем минимуме твердого вещества они вполне отвечали максимальным статическим нагрузкам. Ганса Касторпа учили тому, что тело, которое построено лишь из стержней и скреп конструкционного материала в соответствии с предъявленными ему требованиями растяжения и давления, может выдерживать такую же нагрузку, как и сплошное тело из того же материала. Так же и при образовании трубчатых костей можно было наблюдать, как, одновременно с уплотнением вещества на их поверхности, внутренние части, ставшие с точки зрения механики ненужными, превращались в жировые ткани и костный мозг.
391. Он с удовлетворением констатировал этот факт, ибо так велик был его интерес, что у него установилась уже трехсторонняя связь с бедренной костью или с органической природой: лирическая, анатомическая и техническая; и эти три вида связей, говорил он себе, в сфере человеческого бытия едины, они являются как бы вариантами одного и того же настойчивого стремления, тремя отраслями гуманитарной науки...
392. Что мешало самоперевариванию желудка у живого человека? Ведь оно же иногда наблюдалось у трупов?
393. На это следовал ответ: жизнь, особая сопротивляемость живой протоплазмы — и при этом делали вид, будто не замечают, что это объяснение мистическое.
394. Итак, приходилось идти от якобы мельчайшего к еще более мелкому и по необходимости разлагать элементарное на еще более простые элементы.
395. Подобно тому как царство животных, бесспорно, состояло из различных видов животных, животное-человеческий организм также состоял из целого животного царства клеток, принадлежащих тоже к разно образным видам, а в состав каждой клетки, в свою очередь, входило многообразное животное царство более элементарных живых единств, размеры которых находятся за пределами видимости в микроскоп, и они самостоятельно росли, самостоятельно множились, следуя закону, по которому каждая может создавать только себе подобную, и, подчиняясь принципу разделения труда, сообща служили организации более высокого порядка.
396. Однако, дойдя до химической молекулы, исследователь оказывался на краю новой пропасти, гораздо более загадочной, чем разрыв между органической и неорганической природой, — а именно пропасти между материальным и нематериальным. Ведь молекула состояла из атомов, а величину атома даже нельзя было назвать исключительно малой. Атом был даже не малым, а настолько крошечным, древним и преходящим комочком чего-то невещественного, еще невещественного, но уже подобного веществу, — комочком энергии, что едва ли мог мыслиться как нечто почти материальное или еще почти нематериальное, а скорее как что-то переходное и пограничное между материальным и нематериальным. Так возникала проблема иного первичного рождения, гораздо более загадочного и фантастического, чем проблемы органической материи, а именно — первичного рождения вещества из невещественного. И действительно — перекинуть мост через пропасть между материальным и нематериальным казалось еще более важным, чем между органической и неорганической природой. Должна была существовать химия нематериального, невещественных соединений, из которых возникло вещество, подобно тому как возникли организмы из неорганических соединений; и, может быть, атомы — это пробии и монеры материи, по природе своей они уже вещественны и все же еще невещественны. Но когда доходишь до определения «даже не мал», масштабы теряются; «даже не мал» — это все равно что «чудовищно велик», а приближение к атому

- оказывалось, без преувеличения, действительно роковым, ибо в миг последнего деления и дробления материальной частицы внезапно раскрывался астрономический космос!
397. И это было не только сравнением, так же как мы не просто ради сравнения называем многоклеточные существа «колонией клеток», или «государством» клеток; город, государство, социальную общину, организованные по принципу разделения труда, не только можно было уподобить органической жизни — они в точности повторяли ее.
398. Мир атома — это было нечто внешнее, и очень вероятно, что наша планета, на которой мы живем, с точки зрения органической представляла собой нечто глубоко внутреннее.
399. Разве некий исследователь с дерзостью мечтателя не говорил о животных «млечного пути», о космических чудовищах, чья плоть, кости и мозг состоят из солнечных систем?
400. Это были особые формы тканей, очень крупные, их вызывало вторжение инородных клеток в организм, оказавшийся к ним восприимчивым — быть может, восприимчивым в результате некоей распушенности, — но предоставлявший им благоприятные условия для развития.
401. Поскольку патология, то есть наука о болезнях, делала особое ударение на болезнях тела, подчеркивала телесность, а тем самым и чувственность, болезнь представлялась Гансу Касторпу особой распутной формой жизни.
402. А жизнь? Чем являлась она? Может быть, она тоже лишь инфекционное заболевание материи? Может быть, и то, что мы называем первичным рождением материи, было также всего лишь неправомерным разрастанием нематериального, вызванным каким-то раздражением? Первый шаг ко злу, к чувственности и к смерти, бесспорно, следовало искать в том моменте, когда, вызванное щекоткой неведомой инфильтрации, впервые произошло уплотнение духовного, его патологическое разрастание, которое, будучи наполовину наслаждением, наполовину самозащитой, оказалось первой ступенью, ведущей к вещественности, переходом от нематериального к материальному; это и было грехопадением. А второй момент первичного рождения, возникновение органической природы из неорганической, оказался только дурным повышением телесности до сознания
403. Но до этого все же пришло Рождество, два праздничных дня, а если прибавить сочельник, то и три; Ганс Касторп ждал их с некоторым страхом и сомнением, спрашивая себя, как они будут здесь отмечаться, а оказалось — самые обыкновенные дни — с утром, полднем и вечером, с неважной погодой (слегка таяло), они так же, как другие, начались и кончились; только внешне слегка приукрашенные и выделенные, в течение положенного срока жили они в умах и сердцах людей и, оставив после себя некоторый след иных, чем в будни, впечатлений, отошли сначала в недавнее, а затем и в далекое прошлое.
404. И все-таки ему тогда представлялось, что это уйма времени, особенно первые три недели, а вот время, равное по счету, — те же шесть недель, — теперь казалось ничтожным, почти ничем, и сидевшие в столовой пациенты были правы, относясь к нему пренебрежительно.
405. оно удивительно гармонировало с ее «татарской физиономией», как выражался Сеттембрини, особенно с ее глазами, которые он называл «волчьи огоньки в степи».
406. время от времени загоралась ветка, ее кидались тушить, и начинался отчаянный визг и неумеренная паника.
407. Сеттембрини, одетый как обычно, в конце праздничного ужина подсел ненадолго со своей неизменной зубочисткой к столу кузенов, подразнил фрау Штёр, потом завел разговор о сыне плотника и учителе человечества, воображаемый день рождения которого сегодня празднуют. А жил ли он на самом деле — неизвестно. Но то, что тогда родилось и начало свое непрерывное, победное шествие, продолжающееся и по сей день, — это идея ценности каждой отдельной души, а также идея равенства — словом, тогда родилась индивидуалистическая демократия. За это он и осушил бокал, который ему пододвинули. Фрау Штёр нашла его манеру говорить о таких вещах «двусмысленной и бездушной».
408. Русские, выступившие самостоятельно, поднесли что-то серебряное — огромную круглую тарелку с выгравированной посередине монограммой Беренса — вещь, явная бесполезность которой сразу же бросалась в глаза. На шезлонге, — дар остальных пациентов, — можно было по крайней мере лежать, хотя на нем не имелось еще ни одеяла,

ни подушки, а всего лишь натянутый холст. Все же у шезлонга было передвижное изголовье, и Беренс, чтобы посмотреть, насколько он удобен, тут же улегся на него, зажав под мышкой ненужную тарелку, закрыл глаза и начал храпеть, как лесопилка, заявив, что он Фафнир, охраняющий сокровище. Все ликовали.

409. Первый день Рождества был туманный и сырой. Беренс заявил: мы сидим в тучах, туманов здесь наверху не бывает. Но тучи или туман — все равно ощущалась резкая сырость.
410. Второй день Рождества отличался от обычного воскресенья и от просто будничного дня только одним: где-то в сознании жила мысль, что вот сегодня второй день праздника; а когда миновал и он — Рождество уже отошло в прошлое, или, вернее, опять стало далеким будущим — целый год отделял от него обитателей «Берггофа»; до того, как оно вернется, опять следуя кругообороту времени, снова оставалось двенадцать месяцев — в конце концов только на семь месяцев больше того срока, который здесь уже прожил Ганс Касторп.
411. Иоахим не одобрил такую расточительность: зачем мучить человека, искусственно продлевать его жизнь таким дорогим способом, если дело все равно безнадежно! Конечно, покойного нельзя винить за то, что он извел зря столько дорогого газа, поддерживающего жизнь, ведь его заставляли дышать им... А вот ухаживающим следовало быть благоразумнее — пусть идет себе с Богом своим неизбежным путем, не надо его задерживать, каково бы ни было материальное положение близких, и тем более — если оно плохое. У живых тоже есть свои права и так далее. Но Ганс Касторп решительно возразил: Иоахим стал рассуждать прямо как Сеттембрини, без всякой почтительности и бережности к страданию. Ведь австриец умер, и тут конец всему, уже ничем не выразишь ему своего внимания, а умирающего надо чтить, любые расходы — только дань уважения, на этом он, Ганс Касторп, настаивает. Во всяком случае, нужно надеяться, что Беренс в последнюю минуту не накричал на него и не разбил без всякого пиетета!
412. Там, где были колени, лежала гирлянда цветов, торчавшая из нее пальмовая ветвь касалась больших, желтых, костлявых рук, сложенных на впалой груди. Желтой и костлявой была и лысая голова, и лицо с горбатым носом, торчащими скулами и рыжеватыми кустистыми усами, густота которых еще подчеркивала серые провалы щетинистых щек. Веки были неестественно плотно сомкнуты — видимо, глаза ему зажали, а не закрыли, невольно подумал Ганс Касторп: это называлось отдать последнюю дань, хотя делалось больше для живых, чем для умершего, закрывать их нужно было тут же после смерти — если процесс образования миозина в мышцах уже начался, это становилось невозможным, мертвец лежал и неподвижно тарашил глаза; чтобы создать впечатление, будто австриец задремал, ему и закрыли глаза своевременно.
413. Ганс Касторп уже имел опыт в этих делах, многое было ему знакомо, и он чувствовал себя здесь в своей стихии; но, несмотря на свою искушенность, стоял у ложа с благоговением.
414. — Как будто спит, — сказал он из сострадания, хотя на самом деле слишком ясна была разница.
415. Она отпустила молодых людей со словами благодарности, и ее приветливая сдержанность не могла не вызвать уважения, тем более при таком горе, а главное — при огромном счете за кислород, оставшемся после супруга.
416. — *Requiescat in pace*[43], — произнес он. — *Sit tibi terra levis. Requiem aeternam dona ei, Domine*[44]. Видишь ли, когда речь идет о смерти, или об умерших, или когда обращаются к умершим, то пользуются латынью, в таких случаях она опять становится официальным языком, люди чувствуют, что смерть — это все-таки особое дело, и в честь смерти говорят по-латыни не из гуманистической куртуазности, язык умерших — это, понимаешь ли, не латынь образованных людей, ее дух — совсем другой, он, если можно так выразиться, даже нечто противоположное такой латыни. Это латынь священная, латынь монахов, средневековые, она похожа на глухое, заунывное пение, которое звучит точно из-под земли.
417. королева же говорит: «Иначе было в моей Франции»; конечно, для нее это все слишком чопорно и солидно, ей хотелось, чтобы было повеселей, побольше человеческого! Но что такое «человеческое», обо всем можно сказать, что оно человеческое! По-моему, испанская

- богобоязненность и торжественно-смиренная размеренность — очень почтенное выражение того же «человеческого», а с другой стороны, словами «все это — человеческое» можно оправдать любую распушенность и расхлябанность.
418. Вы носите мундир, он хорошо сидит и опрятен, у него стоячий воротник, и это придает вам известную осанку. А потом у вас иерархия и послушание, вы церемонно отдаете друг другу честь — все это в испанском духе, благочестиво и по существу мне нравится. Надо бы, чтоб и среди нас, штатских, больше было этого духа, в наших нравах, в нашем поведении, мне это ближе, я считаю это более уместным. На мой взгляд, мир и жизнь таковы, что следовало бы всем носить черное, накрахмаленные брыжи, а не наши воротнички, и обращаться друг с другом истово, сдержанно, строго соблюдая форму и в неизменных помыслах о смерти — так, по-моему, было бы лучше, нравственнее.
419. Видишь ли, это еще одна из ошибок Сеттембрини — сомнение, что ли... Хорошо, что разговор зашел об этом. Он не только воображает, что присвоил себе все виды человеческого достоинства, но и все виды морали — с его пресловутой «практической работой для жизни», прогрессивными воскресными празднествами (как будто именно в воскресенье не о чем и подумать, кроме прогресса) и систематическим «искоренением страданий», и помочь этому должен словарь; впрочем, ты об этом не знаешь, но мне он в порядке поучения рассказал... да, что хочет их систематически искоренять с помощью словаря. А если мне именно это кажется аморальным, что тогда? Ему я, конечно, этого не скажу, он же меня в порошок сотрет своими пластическими речами, да еще заявит: «Предостерегаю вас, инженер!» А думать по-своему мне все-таки хочется: «Сир, даруйте же свободу мысли!»
420. и мы, до того, как он или она отойдет в вечность, еще обменяемся с ними несколькими человеческими словами.
421. — Да, между прочим, и на него, — сказал Ганс Касторп, ибо его желание было подсказано довольно сложными побуждениями; протест против здешних эгоистических нравов был только одним из них.
422. Постепенно ему открывалось многое в их жизни и поступках, нравах и взглядах, что отнюдь не способствовало его добрым намерениям.
423. Но через две недели стало известно, что адвокат Эйнхуф поступил с Френцхен как негодяй. Впрочем, оставляем это выражение на нашей совести или, во всяком случае, на совести Ганса Касторпа, ибо для тех, кто распространял этот слух, он не казался такой уже необыкновенной новостью, чтобы стоило употреблять столь сильные выражения. Пожимая плечами, эти люди давали понять, что ведь в таких делах всегда участвуют двое и едва ли что-нибудь могло произойти без желания и согласия обеих сторон. Такова была по крайней мере в отношении данного случая моральная позиция фрау Штёр.
424. А так как выражение «восторг» вместо «блестяще» или «отлично», долгое время бывшее в моде среди публики, наконец, утратило свою силу, простигуировалось и стало выхолощенным, а потому — устаревшим, она вцепилась в другое слово — «роскошь» и по любому поводу, всерьез и в насмешку непременно говорила «роскошь», касалось ли это санного пути, пирога или ее собственной температуры, и это было непереносимо.
425. Если она рассказывала, что фрау Заломон надела сегодня самое дорогое кружевное белье, ведь она же идет на обследование к врачам и кокетничает перед ними шикарным исподним, — это хоть могло быть в каком-то смысле правдой, Гансу Касторпу и самому казалось, что процедура осмотра, независимо от результатов, доставляет дамам удовольствие, и они для этого кокетливо одеваются.
426. Все это было несерьезно и очень мало отвечало духовным запросам Ганса Касторпа.
427. Женщины, и прежде всего фрау Штёр, хотя ей не уступали дамы Заломон, Редиш, Гессенфельд, Магнус, Ильтис, Леви и прочие, пришли, каждая на свой лад, в такое волнение, что иные начали неистовствовать не хуже самого Попова. Отовсюду доносились пронзительные крики, всюду видны были судорожно зажмуренные глаза, раскрытые рты, неестественно изогнувшиеся торсы. Только одна предпочла тихий обморок.

428. Дело в том, что в истекший понедельник этот психоаналитик, рассуждая о любви как болезнетворной силе, коснулся падучей; пользуясь то поэтическими образами, то беспощадно точной научной терминологией, он принялся доказывать, что эта болезнь, в которой доаналитическое человечество видело и священный, даже пророческий дар, и дьявольскую одержимость, является как бы эквивалентом любви, мозговым оргазмом, короче говоря, он изобразил ее в столь подозрительном свете, что те, кто его слушал, увидели в припадке Попова как бы наглядную иллюстрацию к его докладу, некое бурное самообнаружение, загадочный скандал, поэтому в тайном побеге дам сказала даже некоторая стыдливость.
429. но он решил, что отсутствие официального повода не должно служить препятствием для задуманного им акта милосердной галантности.
430. Все это он делал радостно, приятно взволнованный царившим в магазине ароматом растений и влажным теплом, от которого, после уличного холода, слезились глаза; а сердце его усиленно билось при мысли о необычности, смелости и значительности совершаемого им втайне человеколюбивого поступка, которому он в душе придавал глубоко символическое значение.
431. Хотя родители и были глубоко удручены, они любезно поддерживали недолгую беседу, расспрашивая о личных обстоятельствах кузенов и касаясь других тем, как это принято в культурном обществе.
432. Достаточно было посмотреть на майора, широкоплечего, низколобого здоровяка с топорщившимися усами, и становилось совершенно ясно, что этот богатырь органически неповинен в предрасположении и восприимчивости дочки к болезни. Виновницей, вероятно, была жена, маленькая женщина — выраженный тип чахоточной, к тому же, видимо, угнетенная тем, что дочь получила именно от нее плохую наследственность.
433. Да ведь и у нее самой, это могут подтвердить многие, легкие были только слегка затронуты, и болела она совсем недолго, еще когда была девушкой. А потом она справилась с недугом, выздоровела, врачи ее уверили в этом — ей так хотелось выйти замуж, очень хотелось, хотелось жить, и это удалось. Она была вполне здорова, когда вышла за своего дорогого мужа, а уж он крепок, как дуб, и со своей стороны никогда и не думал о возможности такой болезни. Но хотя организм отца здоров и крепок, а все-таки его кровь не пересилила, и беда стряслась. И вот в ребенке опять вскрылось то страшное, давно забытое, с чем давно покончено, и девочка не может справиться, она погибнет, а она, мать, победила болезнь, и теперь настал более безопасный возраст; но ее несчастное дорогое дитя умрет, врачи не дают никакой надежды, и во всем виновата она и ее прошлое.
434. Ведь она лежит, бедняжка, совсем одна и мучается, а другие ее сверстницы веселятся и радуются жизни, танцуют с красивыми молодыми людьми, ведь, несмотря на болезнь, танцевать-то все-таки хочется. Они принесли с собой хоть немного солнышка, Боже мой, наверное, уж напоследок... Эти гортензии были для нее точно успех на балу, а возможность поболтать с такими двумя видными кавалерами — вроде невинного маленького флирта, она, мать, сразу это заметила.
435. Кроме того, никакой он не «видный кавалер», а навестил маленькую Лейлу из чувства протеста против царящего здесь эгоизма и из соображений духовно-медицинского характера. Словом, ему не очень понравился оборот, который дело приняло в конце их визита, поскольку майорша подошла к этому не так, как следовало, но все же он был оживлен и доволен тем, что выполнил свое намерение.
436. Сколько добрейший Иоахим ни отговаривался, ему тоже пришлось пойти. Напор Ганса Касторпа и его сердобольная предприимчивость были сильнее, чем неохота кузена; Иоахим только молчал и опускал глаза, это был единственный способ выразить свой протест, иначе его обвинили бы в недостатке христианских чувств. Ганс Касторп отлично это видел и умело использовал.
437. разве с умирающими не надо обходиться так, словно каждый день — их день рождения?

438. Тяжелобольной, которому едва можно было дать двадцать лет, уже лысоватый, уже седеющий, с восковым измученным лицом, большерукий, большеносый, ушастый, был тронут чуть не до слез и горячо благодарил за участие и развлечение
439. Ротбейн рассказывал обо всем этом шепотом, но весьма обстоятельно и к вопросу об операции подходил с чисто деловой точки зрения — видно было, что, пока он жив, он иначе и не будет ни к чему относиться.
440. При прощании Фриц опять всплакнул; слезы странно не вязались с сухой деловитостью его мыслей и суждений и были только результатом слабости.
441. Сестра Альфреда успела покинуть санаторий «Берггоф», ее срочно вызвали в другое лечебное заведение, к другому «морибундусу»; и она, закинув за ухо шнурок пенсне и со вздохом подхватив свой чемоданчик, перекочевала туда, ибо это было единственное, что ей могла предложить жизнь.
442. Мне нравится, что вы, относительно крепкий молодой человек, немножко сочувствуете моим бедным легочным свистунчикам в клетках.
443. Но кто же такая эта «передутая», и в каком смысле понимать подобное прозвище? — Буквально, — ответил гофрат. — В прямом смысле слова, без всяких метафор.
444. У Ганса Касторпа осталось впечатление, что вероятнее второе, и она действительно только по своему легкомыслию и глупости своего птичьего ума щебечет, хихикает и заливается, и он очень этого не одобрил. Цветы он все же ей послал, но увидеть вторично смешливую фрау Циммерман ему не пришлось: продержавшись еще несколько дней на кислороде, она в самом деле умерла в объятиях своего супруга, которого вызвали телеграммой; дурища необыкновенная, добавил от себя гофрат, от которого Ганс Касторп узнал о ее смерти.
445. Постепенно пошли слухи об их деятельности, их стали называть самаритянами и братьями милосердия.
446. — Оставьте вашего кузена в покое! Если говорят о вас обоих, то, конечно, все дело в вас. Лейтенант — человек почтенный, но простая натура, без всяких затаенных опасностей, воспитателю он не доставит особых трудностей. И вы меня не убедите, будто руководящую роль играет он. Более важную, но и более опасную играете вы. Если можно так выразиться, вы трудное дитя нашей жизни, и о вас постоянно надо заботиться. Впрочем, вы ведь мне разрешили заботиться о вас.
447. посещаю тяжело и серьезно больных, понимаете ли, тех, кто здесь не для забавы и болел не от распущенности, тех, кто умирает.
448. — Но ведь написано: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов», — заметил итальянец.
449. Ганс Касторп воздел руки, как бы желая сказать — мало ли что написано — пишут и так и наоборот, поэтому трудно найти истинное и следовать ему.
450. в это время красавец Лауро, тоже по-французски, грассируя и шелестя, разглагольствовал с нестерпимой высокопарностью на ту тему, что он хочет умереть как герой, *comme héros, à l'espagnol*, подобно брату, *de même que son fier jeune frère Fernando*[47], который тоже умер как испанский герой; при этом Лауро жестикулировал, разорвал на себе рубашку, чтобы подставить свою желтую грудь разящим ударам смерти, и неистовствовал до тех пор, пока не закашлялся, так что на его губах выступила прозрачная розовая пена; это положило конец его хвастовству и дало кузенам возможность на цыпочках удалиться.
451. Они больше не говорили между собой о посещении Лауро, и даже про себя каждый старался не осуждать его. Зато им обоим гораздо больше понравился Антон Карлович Ферге из Петербурга
452. А он обнажил ее и начал щупать. И мне, господа, стало дурно. Отвратительно, господа, никогда я не думал, что может у человека возникнуть такое трижды подлое, гнусное, унижительное чувство, какого на земле вообще не бывает — разве что в аду! И со мной случился обморок — сразу три обморока — зеленый, коричневый и фиолетовый. Кроме того, в этом обмороке я дышал страшной вонью, шок подействовал на обоняние, господа... нестерпимо воняло сероводородом, — вероятно, так пахнет в преисподней, — и, несмотря на все это, я слышал свой смех, хотя задыхался, но так люди не смеются, это был какой-то залиvistый, непристойный, гадкий смех, я в жизни такого не слышал, оттого что когда

- щупают плевру, вам кажется, господа, будто вас щекочут самым чудовищным, нестерпимым, нечеловеческим образом; вот какой я испытал нестерпимый стыд и муку, это и есть плевральный шок, да хранит вас от него Господь Бог.
453. А в остальном — Ферге с самого начала заявил, что человек он вполне обыкновенный, всякие «возвышенные» чувства ему чужды, и пусть к нему не предъявляют никаких особых духовных и нравственных требований, так же как он сам их ни к кому не предъявляет.
454. В том, что он сообщал, не было ничего возвышенного, но это был фактический материал, и слушали они его с охотой, особенно Ганс Касторп, который считал для себя полезным узнать побольше о русском государстве и его жизни, о самоварах, пирогах, казаках и деревянных церквах с таким множеством куполов-луковок, что они напоминали колонии грибов. Расспрашивал он и о тамошних людях, об их северной, а потому казавшейся ему еще более увлекательной экзотике, об азиатской примеси в их крови, о широких скулах, о монгольско-финском разрезе глаз; он слушал обо всем этом якобы из интереса к антропологии, заставлял Ферге и говорить по-русски: быстрой, нечеткой, страшно чуждой и бескостной звучала восточная речь в устах Ферге, осененных добродушными усами, речь, лившаяся из его горла с добродушно выступающим кадыком, и Ганса Касторпа все это занимало тем сильнее (но уж такова молодежь), чем более запретной с педагогической точки зрения была та область, в которой он резвился.
455. В пятидесятой комнате лежала тяжелобольная фрау фон Малинкрод; ее звали Натали, глаза у нее были черные, в ушах висели золотые кольца, она любила кокетничать и наряжаться, и вместе с тем она была Иовом и Лазарем, вместе взятыми, да еще в женском обличье, до того Господь Бог обременил ее всякими недугами. Казалось, весь ее организм насквозь отравлен ядами, так как ее непрерывно постигали всевозможные болезни, то вместе, то порознь. Особенно сильно поражена была кожа, покрытая местами экземой, вызывающей мучительный зуд, а иногда язвочки появлялись даже во рту, почему ей и с ложки-то было трудно есть. Один воспалительный процесс сменялся другим — воспаление подреберной плевры, почек, легких, надкостницы и даже мозга, так что фрау Малинкрод наконец теряла сознание, а сердечная слабость, вызванная жаром и болями, постоянно держала ее в страхе и приводила, например, к тому, что во время еды она не могла проглотить кусок как следует: пища застревала в самом начале пищевода. Словом, она жестоко страдала и, кроме того, была совершенно одинока. После того как фрау Малинкрод бросила мужа и детей ради другого мужчины, вернее мальчишки, возлюбленного, в свою очередь, покинул ее, как она сама сообщила кузенам, и теперь она оказалась бесприютной, хотя и со средствами — муж все же помогал ей. Она без неуместной гордости пользовалась тем, что он, будучи или просто порядочным, или все еще влюбленным в нее, посылал ей, ибо сама-то она относилась к себе несерьезно и признавала, что да, она просто нечестная и грешная бабенка, и, понимая это, переносила свои страдания, как Иов, с удивительным терпением и выдержкой и с той стихийной силой сопротивления, которая особенно присуща женщинам, побеждала немощи своего смуглого тела и даже ухитрялась с помощью куска газа, которым по каким-то печальным причинам ей приходилось повязывать голову, еще и украсить себя.
456. Покачивая золотыми кольцами в ушах, она вскоре же поведала кузенам обо всем, что с ней приключилось. Ее муж — порядочный, но нестерпимо скучный человек, дети тоже порядочные и скучные, во всем пошли в отца, она никак не могла проникнуться к ним особо теплыми чувствами, а вот тот, другой, еще совсем мальчишка, с которым она убежала из дому, тот относился к ней с такой удивительной поэтической нежностью...
457. Он упражнялся в этих деяниях и по пути из столовой и возвращаясь с прогулки, причем говорил Иоахиму: пусть идет дальше, он только забежит на минутку в пятидесятый номер и посмотрит, как там дела, — испытывая при этом блаженное чувство какого-то расширения своего существа и радости от сознания пользы и внутренней значительности своих добрых дел — правда, втайне к этому примешивалось и некоторое самодовольство от того, что его поведение такое безупречно христианское, хотя христианство это было столь скромным, добродетельным и достойным всяческой похвалы, что против него ничего нельзя было возразить ни с точки зрения воина, ни с точки зрения педагога-гуманиста.

458. Однако сердечное сочувствие к бедной фрейлейн Карстед привело в этом смысле к кое-каким переменам — и Иоахим ничего не мог против них возразить, иначе его отношение могли назвать нехристианским.
459. весело звеня, проезжали сани, и прогуливались населявшие курзал и другие шикарные отели прожигатели жизни и тунеядцы со всех концов света, без шляп, в модной спортивной одежде из дорогих красивых материй, бронзовые от зимнего солнца и сияния снега
460. американцы, прилизанные, с маленькими головками, с трубками в зубах и в шубах мехом наружу; русские, бородатые, элегантные, имевшие вид богатых варваров; голландцы с примесью малайской крови, сидевшие вперемежку с немцами и швейцарцами; и, наконец, говорившие тоже по-французски и всюду как бы вкрапленные среди других люди неведомых национальностей, вероятно, балканцы или левантинцы, представители некоего фантастического мира
461. Это была волнующая повесть о любви и убийствах, она безмолвно разыгрывалась при дворе восточного деспота, мелькали эпизоды, полные великолепия и наготы, властолюбия и фанатической религиозной покорности, жестокости, вожделения, неистового сладострастия, заторможенные устойчивой наглядностью, когда надо было показать мускулатуру на руке палача, — словом, история, созданная желанием угодить тайным вкусам публики, представляющей собой интернациональную цивилизацию.
462. Вняв уговорам фрау Штёр, присоединившейся к ним, они все вместе зашли в кафе курзала, чтобы доставить удовольствие бедняжке Карен, которая, желая выразить свою благодарность, все время держала руки сложенными.
463. Менее понятным представлялось ей отношение к Карен самих рыцарей; но, невзирая на всю свою глупость и неотесанность, она, с чисто женской интуицией, все же нашла какое-то решение этого вопроса, правда — неполное и банальное; ибо она сообразила и язвительно дала понять, что истинным и подлинным рыцарем здесь является именно Ганс Касторп, влечение которого к мадам Шоша было ей известно, а молодой Цимсен только так, на ролях ассистента, и что его двоюродный брат покровительствует этой выдре Карстед, желая хоть как-нибудь вознаградить себя за то, что приблизиться к другой ему никак не удастся; такая догадка была вполне достойна фрау Штёр, этой мещанки, и лишена всякой моральной глубины, почему Ганс Касторп и ответил лишь усталым, презрительным взглядом, когда она, пошло его поддразнивая, высказала ее.
464. На часах мирового времени передвинулась на единицу одна из больших стрелок, — конечно, не самая большая, отмеряющая тысячелетия, — немногие из ныне живых будут присутствовать при этом; а также и не та, которая отмечала столетия или даже десятилетия, нет, не она.
465. И пока тронется с места эта годовая стрелка, должна еще десять раз передвинуться месячная стрелка, а это в несколько раз больше, чем за все то время, что Ганс Касторп здесь прожил, — февраль не считался, ведь если он уже пришел, то и прошел, что разменено, то и растрчено.
466. Безмолвие, уединенность и покой казались здесь как-то по-особенному глубокими и таинственными, и в их сложный смысл было нелегко проникнуть; маленький каменный ангел или божок, стоявший среди кустов в снежной шапочке слегка набекрень, приложив палец к губам, очень подходил для гения этого места, другими словами — для гения молчания, такого молчания, которое очень отличалось от речи, было ее полной противоположностью, то есть умолканием, не имевшим ничего общего с пустотой и бессодержательностью, — удобный случай для обоих мужчин, чтобы снять шляпы, будь они в шляпах.
467. Что касается надписей, то здесь были похоронены люди со всех концов света — встречались фамилии английские, русские и вообще славянские, а также немецкие, португальские и многие другие; однако даты свидетельствовали о хрупкости этих людей, масштабы жизни были очень невелики, время от рождения до смерти почти всегда не превышало двадцати лет — молодежь почти сплошь — зрелых здесь не попадалось, все

- народ непрочный; отовсюду съехались они в эту долину и перешли окончательно к горизонтальной форме существования.
468. Наступила карнавальная неделя. Пост стоял уже у дверей, Ганс Касторп осведомился у старожилы Иоахима, как тут проводят карнавал.
469. — Magnifique[50], — отозвался за него Сеттембрини, когда кузены опять как-то встретились с ним на утренней прогулке. — Splendide[51]. Как в Пратере в дни гуляния, вот увидите, инженер! Мы сразу превратимся в блестящих кавалеров и выстроимся в ряд, — продолжал он, сопровождая свои ядовитые слова весьма выразительными движениями рук, плеч и головы. — Что вы хотите, и в maison de santé[52] иной раз бывают балы для безумцев и дураков, я читал... Почему же не может быть здесь? В программу входят всевозможные danses macabres[53], как вы, конечно, себе представляете.
470. По-моему, правильно, что здесь традиционно отмечают праздники, по мере того как они наступают, и разные этапы года, чтобы избежать сплошного однообразия, а то было бы уж чересчур невыносимо. Праздновали Рождество, отметили Новый год, а теперь вот наступила карнавальная неделя. Потом придет Вербное воскресенье (крендельки здесь пекут?), потом страстная неделя, Пасха и через шесть недель Троица, а там, глядишь, и самый длинный день настанет, летний солнцеворот, понимаете ли, и время уже повернет к осени...
471. Уже во время первого завтрака во вторник на карнавальную неделю — еще никто не успел опомниться, а этот вторник оказался уже тут как тут, — с раннего утра в столовой стали раздаваться звуки карнавальных духовых инструментов — дудок и сопелок. За обедом со стола Гэнзера, Расмуссена и Клеефельд уже запустили серпантин, и многие пациенты, например, круглоглазая Маруся, оказались в бумажных колпаках — их тоже можно было приобрести в конторке хромого портье. Вечером в столовой и гостиных началось такое карнавальное веселье, которое в конце концов... Впрочем, пока только нам одним известно, к чему благодаря предприимчивости Ганса Касторпа привело это карнавальное веселье.
472. После обеда все скопом отправились бродить по улицам курорта, чтобы посмотреть на карнавальное оживление. Уже по пути попадались пьеро и арлекины с трещотками, а между пешеходами и маскированными седоками разукрашенных саней, со звоном пронесившихся мимо, завязался бой конфетти.
473. Когда все сошлись к ужину, за семью столами уже царил весьма приподнятое настроение и было очевидно, что всем хочется продолжить начавшееся веселье в более замкнутом кругу. Сопелки, дудки, а также бумажные колпаки, которыми снабжал портье, были нарасхват, а прокурор Паравант пошел дальше, он выступил инициатором травести, облекся в дамское кимоно, прицепил фальшивую косу — многие завопили, что она принадлежит генеральной консульше Вурмбрандт, — а усы при помощи раскаленных щипцов оттянул вниз и стал совершенный китаец. Не ударила лицом в грязь и администрация. Над каждым из семи столов повесили цветной фонарик в виде полумесяца, внутри которого горела свеча
474. Словом, с самого начала праздничное настроение чувствовалось решительно во всем. Всюду слышался смех, свисавшие с люстр ленты серпантина раскачивались от движения воздуха, в соусе плавали конфетти;
475. непостижимый соблазн этих рук и плеч, которые он уже видел сквозь дымку легкого газа, придававшего их белизне, как он тогда выразился про себя, какую-то «просветленность», — что без этой ткани их соблазн будет не так велик. О заблуждение! Роковой самообман!
476. Для меня это все-таки шабаш! Но, подождите, возможности нашего остроумия еще не исчерпаны, мы еще не достигли высоты, уже не говоря о конце. Судя по всему, будут еще маскированные. Некоторые лица удалились, это дает основания ждать кое-чего, вот увидите.
477. И действительно — появились новые ряженые, дамы в мужской одежде, — слишком выпирающие формы придавали им нелепый опереточный вид, усы и бороды были нарисованы жженой пробкой; мужчины были, наоборот, в дамских туалетах, они путались

в длинных юбках, например студент Расмуссен, который нарядился в черное платье, осыпанное блестками, и, выставляя напоказ прыщеватое декольте, обмахивал бумажным веером грудь и спину тоже. Затем показался нищий, его колени дрожали, он опирался на клюку. Еще кто-то соорудил себе костюм Пьеро из нижнего белья и нахлобучил дамскую фетровую шляпу; ряженный так напудрился, что глаза приняли какой-то ненатуральный вид, а губы покрасил кроваво-красной губной помадой. Это был юноша с ногтем. Грек, сидевший за «плохим» русским столом и неизменно выставлявший напоказ красивые ноги, расхаживал в лиловых трикотажных кальсонах, в коротком плаще, бумажном жабо и с тростью-шпагой, изображая из себя не то испанского гранда, не то сказочного принца. Все эти костюмы были наспех сымпровизированы тут же после ужина. Фрау Штёр уже не могла усидеть на месте. Она исчезла и вскоре вернулась одетая уборщицей, в переднике, с засученными рукавами, ленты ее бумажного чепца были завязаны под подбородком, в руках она держала ведро и швабру, которую тотчас пустила в ход, водя ею под столами и задевая сидящих за ноги.

478. — «Старуха Баубо — особняком», — продекламировал Сеттембрини, увидев ее, и добавил следующий стих в рифму, выговаривая слова особенно четко и пластично. Она услышала, назвала его «заморским петухом» и предложила оставить при себе его «штучки», причем, пользуясь свободой, принятой на маскарадах, назвала на «ты»: этот способ обращения друг к другу установился среди пациентов еще за ужином. Итальянец собрался было ответить, но шум и хохот, донесшийся из вестибюля, помешали ему и привлекли всеобщее внимание.
479. — Внимательно гляди, — услышал словно издалека голос Сеттембрини Ганс Касторп, провожавший ее глазами, когда она устремилась к застекленной двери, чтобы выйти из столовой. — Она — Лилит. — Кто? — удивился Ганс Касторп. Литератор чему-то обрадовался. Он пояснил: — Первая жена Адама. Берегись...
480. — У тебя сегодня голова набита поэзией и стихами. Что это еще за Лилит? Разве Адам был женат дважды? А я и понятия не имел... — Так утверждает древнеиудейская легенда. И потом эта Лилит стала привидением, она по ночам является мужчинам и особенно опасна для молодых своими прекрасными волосами.
481. — Знаете что, инженер, бросьте-ка вы это! — властно заявил Сеттембрини, нахмурившись. — Я попрошу вас пользоваться культурной формой обращения, принятой на Западе, во втором лице pluralis[55]. Вам совершенно не к лицу все эти упражнения! — Ну как же так? Ведь сейчас карнавал! И сегодня вечером это повсюду принято... — Да, для безнравственного соблазна. Когда друг друга называют на «ты» совершенно посторонние люди, которым полагается говорить «вы», — это отвратительная дикость, игра в первобытность, распущенность, которую я ненавижу, так как она, в сущности, направлена против цивилизации и прогрессивного человечества — нагло и бессовестно. Я вам тоже не говорил «ты», не воображайте! Я цитировал одно место из шедевра вашего национального поэта. И, следовательно, пользовался лишь условностью поэтической формы...
482. насчет связи республики с возвышенным стилем или времени — с человеческим прогрессом; ведь если бы не существовало времени, невозможным бы оказался и прогресс, мир был бы гнивающей трясиной, вонючей лужей...
483. Он тоже придал своей наружности налет карнавальности: помимо белого халата, в котором он был и сегодня, ибо никогда не прекращалась его деятельность врача, гофрат надел турецкую феску карминно-красного цвета, с черной кисточкой, мотавшейся у него над ухом, и это уже был маскарадный костюм для него: во всяком случае, фески было достаточно, чтобы придать его и без того необычной наружности нечто сказочное и причудливое.
484. Пациентка с лицом тапира сыграла на скрипке — аккомпанировал мангеймец — ларго Генделя, а затем одну из сонат Грига с национальной и несколько салонной окраской.
485. Отдельная группа стояла вокруг стола с пуншем и смотрела на гофрата, показывавшего новую веселую игру. Склонившись над столом и закрыв глаза, но откинув голову и желая показать всем, что глаза у него действительно закрыты, он на обратной стороне визитной карточки вслепую выводил карандашом какой-то рисунок: это были контуры свинки, и его

ручища изобразила ее без помощи зрения — в профиль, правда не очень жизненно правдиво, а скорее упрощенно и схематично, но все же зрители явно видели контуры свинки, и он нарисовал ее, несмотря на сложность условий. Это был фокус, и проделал он его очень ловко. Узенький глаз находился там, где ему следовало быть, правда, немножко ближе к рыльцу, чем полагалось, но все же примерно на месте; так же обстояло дело и с острым ушком на голове, и с ножками, торчавшими из круглого пузика; а в виде продолжения округленной линии спины аккуратным колечком закручивался хвостик. Когда рисунок был готов, все воскликнули: «Ах!» — и стали проталкиваться к столу, охваченные честолюбивым желанием уподобиться мастеру. Однако и с открытыми-то глазами лишь немногие смогли бы нарисовать свинку, а тем паче — с закрытыми. И что тут появились за уродцы! Между частями тела не было никакой связи. Глазок оказывался где-то вне свинки, ножки — внутри брюшка, которое не было замкнуто, а хвостик закручивался в стороне без всякой связи с основным контуром, как самостоятельная арабеска.

486. Однако каждый из предательского честолюбия стремился принять участие в состязании.
487. Особа в бумажной треуголке, улыбаясь, разглядывала его с головы до ног, однако в ее улыбке не было и тени сострадания или тревоги, которые должен был вызвать его отчаянный вид. Женскому полу вообще неведомо такое сострадание и такие тревоги перед пожаром страсти — ибо эта стихия женщине ближе, чем мужчине, он по своей натуре гораздо более далек от нее, и если страсть им овладеет, женщина всегда встречает ее насмешкой и злорадством.
488. что касается Штёрхи, то она танцевала в обнимку со шваброй, прижимала ее к сердцу и гладила ее щетину, словно это были человеческие волосы, подстриженные ежиком.
489. Что такое время? Бесплотное и всемогущее — оно тайна, непременное условие мира явлений, движение, неразрывно связанное и слитое с пребыванием тел в пространстве и их движением. Существует ли время без движения? Или движение без времени? Неразрешимый вопрос! Есть ли время функция пространства? Или пространство функция времени? Или же они тождественны? Опять вопрос! Время деятельно, для определения его свойств скорее всего подходит глагол: «вынашивать». Но что же оно вынашивает? Перемены! «Теперь» отлично от «прежде», «здесь» от «там», ибо их разделяет движение. Но если движение, которым измеряется время, совершается по кругу и замкнуто в себе, то и движение, изменения, все равно что покой и неподвижность; ведь «прежде» постоянно повторяется в «теперь», «там» — в «здесь». И далее: поскольку при самом большом старании нельзя представить себе время конечным, пространство же ограниченным, принято «мыслить» время и пространство вечными и бесконечными, считая, по-видимому, что если это и не вполне верно, то все же лучше, чем ничего. Но не будет ли такое допущение вечного и бесконечного логическо-математическим отрицанием всего ограниченного и конечного и, по сути, сведением их к нулю? Может ли в вечности одно явление следовать за другим, а в бесконечности одно тело находиться подле другого? Как согласовать с вынужденным допущением вечности и бесконечности наличие таких понятий, как расстояние, движение, изменения или хотя бы пребывание во Вселенной пространственно ограниченных тел? Один неразрешимый вопрос за другим!
490. отточила его мысль и придала ей самонадеянность, нужную для углубления в такие казуистические дебри. Он задавал эти вопросы и себе, и честному Иоахиму, и с незапамятных времен погребенной в снег долине, хотя не мог ждать от них ничего сколь-нибудь похожего на ответ — трудно даже сказать, от кого всего менее. Себе он задавал все эти вопросы лишь потому, что не знал, как на них ответить. Иоахима, к примеру, почти немислимо было втянуть в такие разговоры: он, как однажды вечером объяснил по-французски Ганс Касторп, помышлял лишь о том, чтобы стать там, на равнине, солдатом, и вел ожесточенную борьбу с маячившей то совсем близко, то вдруг насмешливо ускользающей надеждой, борьбу, которую он в последнее время, видимо, имел поползновение завершить насильственным путем.

491. В санатории на Шацальпе лежит крестьянин грек, его прислали сюда из Аркадии, агент прислал — безнадежный случай
492. и все больные в один голос заявляли, что глядеть больше не могут на снег, что он им опротивел, что уже лето с лихвой удовлетворило все их запросы на зимние пейзажи, а изо дня в день видеть только снег да снег, снежные сугробы, снежные подушки, снежные склоны, свыше сил человеческих и убийственно действует на настроение.
493. прошло ни мало ни много полтора месяца — срок вдвое больший, чем первоначально намеревался провести здесь Ганс Касторп.
494. Она тоже казалась возбужденно-веселой, как и все отъезжающие, которые радовались перемене в жизни, независимо от того, уезжали ли они с разрешения врача, или с нечистой совестью, на свой страх и риск прерывали лечение, потому что изверились и все им опостылело.
495. здешнее время было особенно приспособлено и нарочно так распределено, чтобы создавать привычки, хотя бы даже привычка заключалась в сознании того, что к этой жизни никогда не привыкнешь.
496. Но рано ли, поздно ли, так сказано было ему при расставании, он, Ганс Касторп, все равно уже «будет отсюда далеко», и нелестное о нем мнение, скрытое в этом пророчестве, было бы вовсе нестерпимым, если бы не убежденность в том, что иные предсказания делаются не затем, чтобы они исполнялись, а для того, чтобы — они наподобие заклинаний — не исполнялись. Пророки такого рода глумятся над будущим, предрекая его с тем, чтобы оно постыдилось оправдать их прозорливость.
497. возникал вопрос, какой же из разнородных элементов этой сложной смеси одержит верх в его натуре: буржуазный или иной...
498. От вояки нечего и требовать ума, но вы, как человек рассудительный, как штатский, получивший гражданское воспитание, вы должны бы вправить ему мозги, чтобы он не наделал глупостей.
499. — Ни боже мой, — отвечал Беренс. — Ей это и в голову не придет. Во-первых, она слишком ленива, а во-вторых, как же ей писать? По-русски я читать не умею, — изъясняюсь кое-как, немилосердно коверкая слова, если уж нужда припрет, но прочитать не могу ни строчки. Да и вы тоже. Ну а по-французски или там по-немецки кошечка, правда, очень охотно мяукает, но писать — это не по ее части. Орфография, милый мой! Нет, юноша, видно придется нам с вами набраться терпения.
500. Вопрос, так сказать, техники, темперамента. Один срывается с места и постоянно вынужден возвращаться, а другой сразу же прочно обосновывается, чтобы ему и надобности не было больше возвращаться.
501. Вести разговоры, писать — это дело гуманистов и республиканцев, дело такого вот господина Брунетто Латини, что написал книгу о добродетелях и пороках и придал флорентинцам должный лоск, обучив их ораторскому мастерству и искусству управлять своей республикой согласно законам политики...
502. Господину Сеттембрини Ганс Касторп тоже мог бы задать свои вопросы и метафизические загадки хотя бы лишь затем, чтобы поддеть его и вызвать на спор, а не в надежде получить на них ответ, ибо гуманиста занимали исключительно земные дела и интересы.
503. Видел ли еще Сеттембрини в Гансе Касторпе «трудное дитя жизни»? Нет, тот, кто полагал нравственность в разуме и добродетели, уж конечно, должен был махнуть на него рукой...
504. — Случалось, что боги и простые смертные спускались в царство теней и находили путь обратно. Но обитатели Аида знают, что однажды вкусивший от плодов их царства навсегда остается им подвластен.
505. — Латини, Кардуччи, Футти-нутти, Спагетти — оставь меня в покое!
506. Произошло это, когда волны времени, набегающие с неизменной монотонной размеренностью, принесли Пасху, которую и отпраздновали обитатели «Берггофа», как праздновали и строго соблюдали все этапы и отрезки года, чтобы хоть чем-то нарушить сплошную вереницу дней, похожих один на другой.

507. — Эти зайчики и крашеные яйца напоминают мне жизнь на большом океанском пароходе, когда неделя за неделей видишь лишь небо да воду, соленую пустыню; комфортабельность обстановки лишь поверхностно позволяет тебе позабыть об окружающих ужасах, но в глубине души тебя по-прежнему гложет тайный страх... Я узнаю и здесь тот же дух, с каким на борту такого ковчега свято отмечают все праздники на terra ferma[156]. Это мысль об оставшемся за бортом мире, сентиментальная приверженность к календарю. На суше сегодня как будто Пасха? На суше сегодня празднуют день рождения короля? И мы тоже празднуем, как умеем, мы тоже люди... Разве не так?
508. А с другой стороны, роскошь на борту парохода знаменует также (он так и сказал «знаменует») и величайшее торжество человеческого духа и человеческого могущества, ведь тем, что человек выносит эту роскошь и комфорт на соленые хляби и смело умеет их там отстоять, он как бы попирает ногой стихии, подчиняет необузданные силы природы, а это знаменует победу человеческой цивилизации над хаосом, если можно так выразиться...
509. — Весьма примечательно, — сказал он. — Ни одного сколько-нибудь связного суждения, ни одной отвлеченной мысли человек не выскажет без того, чтобы не выдать себя с головой, бессознательно не вложить в них все свое «я», не передать символически лейтмотив и исконную проблему всей своей жизни. Так вот и вы сейчас, инженер. То, что вы сказали, поистине шло из самых недр вашего существа, и даже этап, на котором вы в данное время находитесь, выразился в нем весьма поэтически: это все еще этап человека экспериментирующего...
510. — Sicuro[158], если речь идет о почтенной страсти к познанию мира, а не просто о распущенности. Вы говорили о «Hybris», употребили это выражение. Но Hybris разума против темных сил есть высшая человечность, и если она даже навлекает на себя гнев завистливых богов, per esempio[159], и роскошный ковчег разбивается и камнем идет ко дну, то это — достойная гибель. Подвиг Прометея тоже Hybris, страдания прикованного к скифской скале мученика для нас святы. Но как обстоит дело с другим Hybris, с гибелью в сладострастном эксперименте с силами, противными разуму, враждебными человечеству? Где тут достоинство? И может ли быть в этом достоинство? Si o no?[160]
511. — Ах, инженер, инженер, — произнес, покачивая головой, итальянец, и его черные глаза сокрушенно уставились в пространство, — и вы не страшитесь ледяного вихря, бушующего во втором круге ада, который кружит и гонит грешников плоти, несчастных, принесших разум в жертву наслаждению? Gran Dio[161], когда я представляю себе, как вас понесет и закружит вверх тормашками, я готов с горя чувств лишиться...
512. как захватит с собой и продолжит обширный свой труд для энциклопедии, обзор всех шедевров мировой литературы с точки зрения конфликтов, вызывающих человеческие страдания, и возможностей их устранения
513. Так, госпожа Заломон из Амстердама, несмотря на удовольствие, доставляемое ей врачебными осмотрами и связанной с ними демонстрацией тончайшего кружевного белья, вдруг ни с того ни с сего самовольно и незаконно уехала, не имея на то разрешения и не потому, что ей стало лучше, а оттого, что ей становилось все хуже.
514. Но когда стала надвигаться оттепель, а ей при последнем осмотре еще набавили пять месяцев из-за свистящих хрипов в верхушке левого легкого и явно приглушенных тонов под левой лопаткой, терпение у нее лопнуло, и, возмущенная, кляня всех и вся, и «деревню», и «курорт», и прославленный воздух, и интернациональный санаторий «Берггоф» вкуче с врачами, она уехала домой, к себе в Амстердам, в открытый всем ветрам приморский город.
515. Но кое-кто выбыл и по причине сугубо уважительной, как, например, доктор Блюменколь, который попросту умер.
516. Иоахим сидел очень тихий и скучный, едва проронив несколько слов упавшим голосом, так что старушка со свойственной ей благожелательностью постаралась его приободрить, причем, вопреки всем правилам цивилизованной Европы, даже говорила ему «ты».
517. Братья иногда болтали с ним в столовой и гостиной, а случалось, даже сговаривались идти вместе на обязательные прогулки, так как питали склонность к скромному страдальцу,

- который сам заявлял, что ничего не смыслит в высоких материях, но после такой оговорки благодушно рассказывал о производстве галош и об отдаленных областях русской империи, о Самаре, о Грузии, пока они шлепали в тумане по жидкому снежному месиву.
518. На обязательных прогулках Ганс Касторп никак не мог удержаться от искушения их погладить или провести по ним щекой, такие они были неотразимо милые, пушистенькие и свежие.
519. Три четверти года говорил психоаналитик о любви и болезни — не помногу зараз, а все маленькими порциями, от получаса до сорока пяти минут, раскрывая перед ними сокровища своих знаний и мыслей, и у всех создавалось впечатление, что он никогда не кончит и что так может продолжаться до скончания веков. Лекции его походили на «Тысячу и одну ночь», правда рассказываемую каждые две недели и от раза к разу удлинявшуюся, и были вполне пригодны, как и сказки Шехерезады, удовлетворить любопытство праздного шаха и удержать его от эксцессов.
520. К неизменно монотонной размеренности времени, к помогающему его коротать раз и навсегда установленному течению обычного санаторского дня, всегда неизменного, будто две капли воды похожего один на другой, тождественного самому себе, сходному с покоем вечности, так что трудно было даже понять, как он способен вынашивать перемены
521. общению между мужчинами и коллегами, в чьих воззрениях на мир явно преобладает идеалистический элемент, и один из которых на пути к самообразованию дошел до взгляда на материю как на грехопадение духа, как на вызванную раздражением злокачественную его опухоль, тогда как другой, будучи врачом, издавна проповедовал вторичный характер органических заболеваний. Сколько тем для обсуждений и дискуссий: материя как постыдное перерождение нематериального, жизнь как распутство материи, болезнь как извращенная форма жизни!
522. по обе стороны которой помещались кабинеты, где просвечивали больных, в левом — физически, а в правом за углом и ступенькой глубже — психически
523. Но фенологический год здесь, у нас наверху, не торопился следовать календарю: лишь сейчас, лишь на днях окончательно установилась весна, весна еще безо всякого признака тяжелого летнего зноя, благоуханная, воздушно-легкая, прозрачная, с отливающей серебром небесной лазурью и детской пестротой луговых цветов.
524. удовлетворенно устанавливал научную достоверность в построении знакомых ему растений и приступил к определению тех, которых не знал, с помощью системы Линнея, по классам, группам, разрядам, родам, семействам и видам. Так как времени у него было в избытке, то на основе сравнительной морфологии он даже добился известных успехов в систематизации растений.
525. По вечерам он наблюдал звезды. Его обуял интерес к коловращению года — хотя солнце в бытность Ганса Касторпа на земле уже раз двадцать совершило этот же путь и до сих пор такого рода вещи нисколько его не занимали.
526. Вот оно, человечество! — Вот и ты говоришь «человечество», как Сеттембрини.
527. — Да, как он, или немножко иначе. Человечество надо брать таким, как оно есть, оно и так великолепно.
528. — Но ведь это же сплошная издевка! Зимой дни удлиняются, а когда приходит самый длинный день в году, двадцать первое июня, самое начало лета, оно уже катится под гору, дни становятся короче и дело идет к зиме. А ты говоришь «разумеется», но если отвлечься от твоего «разумеется», то иногда просто жуть берет и хочется судорожно хоть за что-то уцепиться. Словно кто-то на смех так устроил, что с наступлением зимы по существу начинается весна, а наступлением лета — осень... Словно Уленшпигель водит тебя за нос по кругу, по неисчислимым точкам поворота... точкам окружности. Да из чего и состоит окружность, как не из одних лишенных протяженности точек поворота, ведь кривизну не измеришь, у нее нет постоянства направления, вот и получается, что вечность не «все прямо, прямо», а «кругом, кругом», настоящая карусель.
529. — Праздник солнцеворота! — воскликнул Ганс Касторп. — Летний солнцеворот! Костры на холмах и хороводы вокруг пылающего огня! Я никогда этого не видел, но слышал, что

так делают почвенные люди, так встречаются они первую летнюю ночь, с которой начинается осень, полдень и зенит года, откуда опять идет спуск — они пляшут, кружатся и ликут. Отчего они ликуют в своей простоте, можешь ты это объяснить? Отчего они так безудержно веселятся? Оттого ли, что дальше путь уже идет вниз, во мрак, или, может быть, оттого, что до сих пор он шел вверх и теперь наступил поворот, неминуемая точка поворота, разгар лета, высший взлет, когда к иступленному веселью примешивается грусть. Я говорю так, как оно есть, теми словами, которые приходят мне на ум. Это грустное иступление и иступленная грусть. Вот отчего почвенные люди ликуют и пляшут вокруг костров, они делают это с отчаяния, скажешь ты, во славу бесконечной издевки, какую представляет собою круг вечности без постоянства направления, где все повторяется.

530. Боже упаси, будет война. — Упаси? Ты говоришь как штатский. Война необходима. Если бы не войны, сказал Мольтке, мир скоро бы загнил.
531. халдеям, которые тоже вели войны и завоевали Вавилонию, хотя и были семитами, то есть почти что евреями
532. Это был маленький тощий человечек, с бритым лицом такого разительного, хотелось бы даже сказать острого, почти едкого безобразия, что братья в душе подивились.
533. но даже горное солнце ничего не могло поделывать со свойственной всем романским народам бледностью
534. Но честь и слава весне в горах! На время она даже способна примирить его со всеми мерзостями здешних мест. Она не будоражит и не раздражает, как весна на равнине. Никакого скрытого кипения! Никаких влажных испарений, никакой туманной духоты! Напротив — ясность, сухость, прозрачность и терпкая мягкость. Вот что ему по душе, что его восторгает.
535. — Сразу видно вольтерьянца, рационалиста. Он славит природу за то, что даже при самой благодатной возможности она не смущает нас мистическим туманом, а хранит классическую сухость.
536. — Это было бы скорее остроумно, чем юмористично, как-никак это привнесение духа в природу. А она в этом нуждается. — Природа, — сказал Сеттембрини, понизив голос и уже не столько через плечо, сколько просто в сторону, — не нуждается в вашем духе. Она сама по себе дух. — И вам не наскучил ваш монизм? — А, так вы, значит, признаете, что лишь развлечения ради вносите разлад в мироздание, отрываете Бога от природы!
537. — Вы стоите на том, что дух, *esprit*, — значит легкомыслие. Но дух не виноват в том, что он изначально дуалистичен. Дуализм, антитеза — вот движущий, диалектический, исполненный страсти и остроумия принцип. Рассматривать мир разделенным на два враждебных начала — вот что дух, вот что остроумно. Напротив, всякий монизм скучен. *Solet Aristoteles quaerere pugnam*[164]. — Аристотель? Аристотель перенес реальность общих идей на индивидуальные явления. Это пантеизм. — Ошибаетесь! Признавая объективность единичного, перенося сущность вещей с общего на частное явление, как это делали последователи Аристотеля — Фома Аквинский и Бонавентура, — вы разрываете единство мира, отобщаете его от высшей идеи, ставите мир вне Бога, а Бога делаете трансцендентным. Это классическое средневековье, милостивый государь.
538. — Прошу прощения, но я применяю понятие «классическое» там, где оно уместно, то есть в тех случаях, когда идея достигает совершенства. Античность не всегда была классична. А вы, как я замечаю, не терпите... свободного обращения с категориями, не терпите абсолюта, в том числе и абсолютного духа. Вы хотите, чтобы дух был тождествен демократическому прогрессу. — Надеюсь, мы оба разделяем убеждение, что дух, как бы ни был он абсолютен, никогда не может стать поборником реакции. — Тем не менее он всегда поборник свободы! — Тем не менее? Свобода — это закон человеколюбия, а никак не злоба и нигилизм. — Которых вы, очевидно, побаиваетесь.
539. Словом, Сеттембрини всячески превозносил безобразного Нафту, хотя только что имел с ним нечто вроде словесной дуэли, и этому сходному с дуэлью спору предстояло тут же возобновиться.

540. Труд, труд... разумеется, он меня сразу изобразит врагом человечества, inimicus humanae naturae, если я осмелюсь напомнить о временах, когда, играя на этой дудке, он отнюдь не достиг бы ожидаемого эффекта, о временах, когда неизмеримо выше ставили прямо противоположный идеал. Бернар Клервоский, например, учил иным степеням совершенства, которые господину Лодовико и во сне не снились. Желаете знать, каким именно? Низшая ступень находилась у него на «мельнице», вторая — на «ниве», третья и наиболее достойная — не слушайте Сеттембрини! — на «ложе отдыха». «Мельница» — это символ мирской жизни, — неплохо сказано! «Нива» — душа мирянина, которую возделывает проповедник и духовный наставник. Это уже более достойная ступень. Но на ложе...
541. — Довольно! Знаем! — воскликнул Сеттембрини. — Теперь он примется доказывать вам, господа, всю пользу и смысл постели.
542. Где же ваша языческая непосредственность? Итак, ложе — место соития любящего с предметом страсти и, как символ созерцательной отрешенности от мира и всего живого, соития с Богом.
543. — Ну, нет, я европеец, человек Запада. А ваша иерархическая лестница — это же чистый Восток. Восток гнушается всякой деятельностью. Лао-цзы учил, что бездействие — самое полезное дело на свете. Если бы все люди отказались действовать, на земле воцарились бы мир и счастье. Вот вам ваше соитие.
544. — Вы так думаете? А как же быть с западной мистикой? И с квиетизмом, к чьим представителям нельзя не причислить Фенелона, учившего, что всякое действие греховно, ибо стремиться к действию — значит оскорблять Бога, которому одному угодно действовать. Я цитирую основоположения Молиноса. Нет, по-видимому, духовная способность обретать блаженство в покое свойственна не одному только Востоку, а распространена среди людей повсеместно.
545. С простодушной решимостью вмешался он в разговор и изрек
546. — Созерцательность, отрешенность. В этом что-то есть, этого так просто не скинешь со счетов. Мы живем довольно-таки отрешенно здесь наверху. Ничего не скажешь. Лежим на высоте пяти тысяч футов в своих на редкость удобных шезлонгах и взираем вниз на мир и на людей и думаем всякое. И вот, если вникнуть хорошенько, то, говоря по правде, ложе, то есть шезлонг, не поймите меня только превратно, принесло мне больше пользы и меня научило большему, чем мельница на равнине за все прошедшие годы, вместе взятые, этого отрицать нельзя.
547. — Сколько раз твердил я вам! Каждый должен знать, что он собой представляет, и думать так, как ему надлежит. Удел европейца, человека западной культуры, невзирая на все и всяческие «основоположения» — разум, анализ, действие и прогресс, а не кровать монаха лежебоки!
548. Труд для инок не был самоцелью, то есть средством забвения, смысл труда не заключался для него и в том, чтобы способствовать прогрессу или извлекать какие-то материальные выгоды. Он был чисто аскетическим упражнением, частью послушания, средством спасти свою душу. Он охранял от соблазнов, служил умерщвлению плоти. Так что труд не носил — разрешите это заметить — никакого социального характера, это был религиозный эгоизм чистой воды.
549. — Я вам чувствительно признателен за ваше разъяснение и радуюсь тому, что благотворность труда проявляется даже вопреки воле человека. — Да, вопреки его намерениям. Мы отмечаем здесь не более и не менее, как различие между полезным и гуманным.
550. — Я прежде всего с недовольством отмечаю, что вы опять раздваиваете мир. — Весьма скорблю, что навлек на себя ваше недовольство, однако вещи следует различать и разграничивать, очищая идею Homo Dei[167] от всего наносного.
551. Ему присуща одна чертовски серьезная сторона — аскетическая, если хотите, — вы сами только что в какой-то связи употребили этот термин, — оно всегда должно быть готовым к тому, чтобы иметь дело со смертью — с которой, в последнем счете, имеет дело и духовное

сословие, не так ли? Потому-то военное сословие и отличают благопристойность, и иерархия, и послушание, и «испанская честь», если можно так выразиться, и не все ли равно в конце концов, подпирает ли тебе подбородок жесткий воротник мундира или накрахмаленные брыжи, — все дело в аскетическом начале, как вы превосходно выразились...

552. — Бесполезно продолжать, инженер, — прервал его Сеттембрини. — Бытие солдата, — я говорю это, вовсе не желая обидеть нашего лейтенанта, — не подлежит идейному обсуждению, ибо оно представляет одну голую форму, само по себе лишено содержания, основной тип солдата — ландскнехт, который давал себя завербовать в защиту любого дела; короче говоря, существовал солдат испанской контрреформации, солдат революционной армии, солдат Наполеона, солдат Гарибальди, есть и прусский солдат. Прежде чем говорить о солдате, я должен знать, за что он сражается!
553. — Но то, что он сражается, — возразил Нафта, — так или иначе остается отличительной особенностью данного сословия, вы не станете этого отрицать. Возможно, что особенности этой недостаточно, чтобы данное сословие могло, на ваш взгляд, «подлежать идейному обсуждению», но это ставит его в сферу, недоступную мерилам буржуазного понимания жизни.
554. — Не удивляйтесь, мы с господином Нафтой часто спорим, но всегда по-дружески и во многом соглашаясь друг с другом.
555. — О нет, — рассмеялся Ганс Касторп. — С чего бы мы стали говорить на такие темы! Брату, как военному, вообще неудобно интересоваться политикой, а я отказываюсь добровольно от нее, ничего в ней не смыслю. С самого приезда сюда я даже ни разу газеты в руки не брал...
556. Сеттембрини, как и в прошлый раз, отнесся к этому неодобрительно. Сам он оказался превосходно осведомленным и положительно отзывался о последних событиях, поскольку они благоприятствовали делу цивилизации. Атмосфера Европы насыщена мыслью о мире, проектами разоружения. Идея демократии повсюду пробивает себе путь. Он заявил, что, по имеющимся у него негласным сведениям, младотурки готовят в ближайшее время переворот. Турция и вдруг — национальное и конституционное государство, — какое торжество для человечества!
557. — Либерализация ислама! — презрительно фыркнул Нафта. — Превосходно. Просвещенный фанатизм, — куда как хорошо!
558. Нафта пожал плечами, одно из них было выше другого. При всем своем безобразии, он был к тому же еще слегка кособок.
559. — Во всяком случае, то, что вы говорите, цинично. В благородных усилиях демократии утвердиться на международной арене вы видите только политический подвох.
560. Эдуард не хуже нас с вами понимает, что петербургским правителям, как хлеб, нужен реванш за маньчжурскую неудачу, чтобы любой ценой отвлечь массы от революции. И все же он направляет — он не может иначе поступить — русское стремление к экспансии в сторону Европы, разжигает утихшее было соперничество между Петербургом и Веней...
561. — Демократия, милостивый государь, может большего ждать даже от Кремля, чем от Гофбурга. И это стыд и позор для страны Лютера и Гутенберга...
562. — Ах, подите вы со своим роком! Достаточно человеческому разуму захотеть стать сильнее рока, и он сам станет роком.
563. — В возможность войны верит тот, кто недостаточно ее ненавидит!
564. Сеттембрини неоднократно с большим воодушевлением говорил о принципе движения и бунта и усовершенствования мира, сам по себе это не такой уж мирный принцип, насколько я понимаю, и что принципу этому предстоит еще многое преодолеть, прежде чем он победит повсеместно и всеобщая
565. — Вольтер и тот одобрял цивилизаторские войны и советовал Фридриху Второму воевать с турками.
566. счастливая всемирная республика станет возможной.

567. — А вместо того он вступил с ними в союз, хе-хе. А потом всемирная республика! Я даже не рискую допытываться, что станет с принципом движения и бунта, когда на земле воцарятся мир и благоденствие. С той самой минуты всякий бунт превратится в преступление...
568. — Вы прекрасно знаете, как знают и эти молодые люди, что здесь имеется в виду прогресс человечества, который мыслится как бесконечный.
569. — Вместо того чтобы попусту мудрствовать и мечтать, инженер, — перебил его Сеттембрини, — следовало бы вы лучше инстинктам своего возраста и расы, которые должны бы толкать вас к действию. Да и ваши занятия естествознанием должны бы внушить вам мысль о прогрессе... Наблюдая, как на протяжении миллионов лет развивалась жизнь от простейшей инфузории вперед и ввысь — к человеку, вы не можете сомневаться, что человечеству открыты еще беспредельные возможности совершенствования. Если же вы хотите держаться одной математики, то ведите свой круговорот от совершенства к совершенству и черпайте утешение в том, чему учили мыслители восемнадцатого века, что человек был от природы добр, счастлив и совершенен и лишь общественные заблуждения исказили и испортили его и что, разумно исправляя социальную структуру общества, он снова должен стать и станет добрым, счастливым и совершенным...
570. — Господин Сеттембрини забыл добавить, — вмешался Нафта, — что идиллия Руссо не более как неудачная рационалистическая перелицовка церковной доктрины о былой свободе и безгрешности человека, его первоначальной близости к Богу и детской простоте, к которой ему надлежит возвратиться. Но восстановление града Божьего, после разложения всех земных его форм, пребывает там, где соприкасаются земля и небо, чувственное и сверхчувственное — благо трансцендентно; а что касается вашей капиталистической всемирной республики, дорогой доктор, то несколько странно в этой связи слышать из ваших уст слово «инстинкт». Инстинктивное всегда национально, сам Бог даровал людям природный инстинкт, побудивший народы обособиться в национальные государства. Война...
571. Ваш квазиантичный культ государства должен бы сделать вас поборником права, а как таковой...
572. Если наш мастер ложи (он указал на Сеттембрини) считает, что склонность и призвание к педагогике являются принадлежностью одного лишь буржуазного гуманизма, с ним придется поспорить.
573. Сеттембрини назвал Нафту «*princeps scholasticorum*», тоже не плохо. Схоластики — это ведь буквоеды-ученые средневековья, догматические философы, если хочешь. Н-да! Понятия средневековья они коснулись несколько раз, и мне вспомнилось, как Сеттембрини в первый же день сказал, что здесь, у нас наверху, многое отдает средневековьем
574. — Этот недомерок? Многое из того, что он говорил, мне понравилось. Международный третейский суд, конечно, один обман и лицемерие. Но сам он мне не очень-то понравился, а тогда хоть с три короба наговори, что толку, если сам ты человек сомнительный. А что он какой-то сомнительный, ты отрицать не станешь. Одна уже история с «местом соития» была достаточно двусмысленна. Притом нос у него явно еврейский, ты обратил внимание? Да и мозгляки такие встречаются только среди семитов.
575. — А насчет мозглявости — это в тебе говорит военный. У халдеев тоже были такие же точно носы, что не мешало им быть чертовски сведущими и не только по части чернокнижия.
576. — «Лишь на горах живет свобода», — беспечно пропел Ганс Касторп. — Сначала скажи мне, что такое свобода, — уже обычным тоном продолжал он. — Вон Нафта и Сеттембрини тоже спорили об этом только что, но так ни к чему и не пришли.
577. — ...мне все же кажется, что он многого побаивается, чего недомерок Нафта не боится, понимаешь, и что его свобода и решимость довольно-таки беззубы.

578. От разговоров и словопрений ничего, кроме путаницы, не получается. Дело не в том, говорю я, какие у кого мнения, а в том, каков сам человек. А всего лучше вообще не иметь никаких мнений, а выполнять свой долг.
579. И меня раздражает такая путаница, когда один проповедует всемирную республику и решительно ненавидит войну и в то же время такой ярый патриот, что требует partout[171] границу на Бреннере и ради нее готов начать цивилизаторскую войну, — а другой, считая государство изобретением дьявола и вещая о каком-то грядущем всеобщем единении, минуто спустя уже защищает законность природного инстинкта и высмеивает мирные конференции. Непременно пойдем и до всего докопаемся. Хоть ты и говоришь, что мы должны здесь набраться не ума, а здоровья. Но ведь и тут должно быть единство, а если ты этому не веришь, то, значит, раздваиваешь мир, а это огромная ошибка, разреши тебе заметить.
580. А впечатлений и переживаний накопилось множество, притом самых разнообразных, и привести их в порядок оказывалось не так-то легко, ибо одно наслаивалось на другое и все настолько тесно переплелось, что действительно пережитое почти невозможно было отделить от мыслей, грез и представлений.
581. Чаще всего они сопровождали посылавшиеся ему из дому деньги, проценты с отцовского наследства, которые столь выгодно обменивались на здешнюю валюту, что он не успевал их истратить до нового чека
582. «Некоторые люди так и не привыкают», — сразу же сказал Иоахим; видимо, к их числу принадлежал и Ганс Касторп. Ибо неприятное трясение головы, которое началось у него здесь наверху вскоре по приезде, тоже не проходило, нападая на него и во время ходьбы, и при разговорах
583. Высшая форма органической жизни — человеческое тело возникало перед ним, как и в ту морозную звездную ночь, когда он, Ганс Касторп, лежал в шезлонге, обложившись учеными трудами; и это созерцание тела изнутри всегда для него сочеталось с множеством вопросов и проблем, вникать в которые честный Иоахим, быть может, и не был обязан, но за которые он, как штатский, начинал чувствовать себя ответственным, хотя внизу, на равнине, тоже не примечал их и, вероятно, никогда бы не заметил; другое дело здесь, в созерцательной отрешенности, когда глядишь вниз на мир и на людей с высоты пяти тысяч футов и о чем только не думаешь — известную роль здесь могла играть и вызванная токсинами болезненная возбужденность организма, горевшая сухим жаром на его лице.
584. рассуждал сам с собой о таких возвышенных философских категориях, как форма и свобода, тело и дух, честь и бесчестие, время и вечность
585. Таковы все наставники. Себе они разрешают все интересное под тем предлогом, что они-де до этого «доросли», а от молодежи требуют, чтобы она признала себя еще «не доросшей» до интересного. Какое счастье, что шарманщик, собственно, не имел никакого права запрещать что-либо молодому Гансу Касторпу, да и не предпринимал к тому никаких попыток.
586. — В порождениях души и духа, — продолжал Нафта, — безобразное, как правило, перерастает в прекрасное, а прекрасное в безобразное. Мы сталкиваемся здесь с духовной, а не с телесной красотой, лишенной проблеска интеллекта. И к тому же абстрактной, — добавил он. — Красота тела абстрактна, реальна только внутренняя красота, красота религиозного чувства.
587. — Очень ценное замечание. Это вы очень верно отметили и разграничили
588. А чья это работа? Нафта пожал плечами. — Не все ли равно? — сказал он. — Нас это не должно интересовать, как не интересовало никого в ту пору, когда она была создана. Изваял ее не какой-нибудь мнящий себя гением monsieur[172]. «Пиета» — творение безымянное и коллективное.
589. Кстати, это уже позднее средневековье, готика, *signum mortificatiōnis*[173]. Романская эпоха считала нужным, изображая распятого, щадить зрителя и беспощадно приукрашивать скульптуры — там и царские короны, и величавое торжество над миром и мученической

- смертью, а здесь этого и в помине нет. Здесь все прямо возвещает о страдании и слабости плоти. Лишь готическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
590. Во-первых, — так показалось ему, — Сеттембрини явился, чтобы не оставлять их с Иоахимом, или, вернее говоря, его наедине с безобразным маленьким Нафтой и как бы создать своим присутствием педагогический противовес
591. Слишком воспитанный, чтобы прямо высказать все, что он думал, Сеттембрини ограничился указанием на погрешности в соотношениях и пропорциях фигур скульптурной группы, противоречащих жизненной правде; они несколько его не умиляют, ибо вызваны не примитивным неумением, а допущены умышленно и злонамеренно, из принципа, с чем Нафта злорадно согласился. Разумеется, о технической беспомощности здесь не может быть и речи. Мы видим здесь сознательное раскрепощение духа, его эмансипацию от естества, прямое презрение к природе, благочестивый отказ смиренно следовать ей. Когда же Сеттембрини заявил, что пренебрежение к природе и к ее изучению может только завести человечество в тупик, и стал, в противовес нелепой бесформенности, насаждавшейся искусством средневековья и его подражателями позднейших эпох, превозносить в выпяченных выражениях греко-римское наследие, классицизм, форму, красоту, разум и радостное восприятие жизни, ибо только они призваны споспешествовать человеческому прогрессу, в разговор вмешался Ганс Касторп и спросил, как же в таком случае быть с Плотинем, который, как известно, стыдился собственного тела, и с Вольтером, который во имя разума протестовал против возмутительного лиссабонского землетрясения? Нелепо? Это тоже было нелепо, но если хорошенько вдуматься, то нелепое, на его взгляд, следовало бы признать душевным благородством, и нелепая враждебность готического искусства к природе в конечном счете так же благородна, как и протест Плотина и Вольтера, ибо в ней выражается то же освобождение от власти рока и факта, та же вольнолюбивая гордыня, не желающая покоряться слепой силе, а именно природе...
592. — Вы, инженер, известный шутник. Но ваша манера дружелюбно подтрунивать над добродетелью никак не поколебала моей уверенности в том, что вы ей привержены.
593. Вы, разумеется, знаете, что когда дух ополчается на природу во имя достоинства и красоты человека, то бунт этот благороден, но нет благородства в бунте, который, если прямо и не ставит себе целью принизить и обесчестить человека, однако влечет это за собой. Вы знаете также, какие нечеловеческие ужасы, какую кровавадную нетерпимость породила эпоха, которой произведение искусства за моей спиной обязано своим происхождением. Достаточно напомнить вам омерзительный тип инквизитора, кровавую фигуру какого-нибудь Конрада Марбургского и его фанатические гонения на все, что противостояло царству сверхъестественного. Не думаю, чтобы вы признавали меч и костер орудиями любви к человечеству...
594. — Зато таким орудием, — вставил Нафта, — очевидно, являлась машина, с помощью которой Конвент очищал мир от плохих граждан. Все церковные кары, в том числе и костер, и отлучение, налагались, дабы спасти душу от вечной гибели, чего нельзя сказать о страсти к истреблению, какую проявили якобинцы. Я позволю себе заметить, что всякое правосудие, прибегающее к пыткам и казням без веры в потустороннюю жизнь, есть зверская бессмыслица. А что касается унижения человека, то история этого унижения есть история развития буржуазного духа. Ренессанс, эпоха Просвещения, естествознание и экономические учения девятнадцатого столетия сделали все, решительно все возможное, дабы способствовать такому унижению, начиная с новейшей астрономии, низведшей центр Вселенной, почетное ристалище, где Бог и дьявол сражаются за вожделенное творение, до ничем не примечательной крохотной планетки, что на время лишило человека его величественного положения в космосе, на котором, кстати сказать, зиждилась астрология.
595. — Конечно. На два-три столетия, — невозмутимо подтвердил Нафта. — Похоже, что и в этом отношении честь схоластики будет восстановлена, все к тому клонится. Птолемей одержит верх над Коперником. Гелиоцентрическая система встречает наконец идейный отпор, который, надо полагать, приведет к желанной цели. Наука окажется философски

вынужденной вернуть Земле то почетное положение, которое стремится сохранить за ней церковная догма.

596. — Что? Как? Идеинный отпор? Философски окажется вынужденной? Приведет к цели? Что за волонтаризм вы проповедуете? А беспристрастное исследование? А чистое познание? А истина, милостивый государь, что неразрывно связана со свободой, и мученики ее, которые, по-вашему, порочат Землю, но, быть может, составят вечную славу нашей планеты?
597. — Но чистого познания, милый друг, не существует. Законность церковной гносеологии, которая сводится к тезису Августина «я верую, дабы познавать», совершенно неоспорима. Орудием познания является вера, а интеллект вторичен. Ваша лишенная гипотез беспристрастная наука — чистейший миф. Какая-то вера, какое-то мировоззрение, какая-то идея, короче говоря, воля здесь неизбежно присутствует, и дело разума истолковать ее, доказать. Все и во всех случаях сводится к *quod erat demonstrandum*[177]. Уже само понятие доказательства содержит в себе, говоря языком психологии, сильнейший волонтаристический элемент. Великие схоласты двенадцатого и тринадцатого веков сходились в убеждении, что ложное с точки зрения богословия не может быть истинным для философии. Но оставим в стороне теологию, если хотите, однако гуманизм, который не признает, что ложное с точки зрения философии не может быть истинным для естествознания, это уже не гуманизм. Аргументация святого судилища против Галилея гласила, что его положения философски нелепы. Более убийственной аргументации не сыщешь.
598. — Э-э! Аргументы нашего бедного великого Галилея оказались более солидными. Нет, давайте говорить серьезно, *professore*[178]! Ответьте мне, перед двумя этими молодыми людьми, которые так внимательно нас слушают, вот на какой вопрос: верите ли вы в истину, в объективную научную истину, стремиться к которой есть высший закон всякой нравственности и чье торжество над любыми авторитетами составляет славную историю человеческого духа?
599. — Такое торжество невозможно, ибо авторитет — это сам человек, его интересы, его достоинство, его благо, стало быть между авторитетом и истиной не может быть противоречий. Они совпадают. — В таком случае истина... — Истинно то, что полезно человеку. В нем воплощена вся природа, из всей природы только он создан и вся природа существует лишь для него. Он мера всех вещей, и его благо — единственный критерий истины.
600. Теоретическое познание, лишенное практического значения для идеи человеческого блага, настолько неинтересно, что здравый смысл повелевает не признавать достоверность подобной науки и попросту ее не допускать. В века, когда господствовало христианское мировоззрение, знание естественных наук почиталось бесполезным для человека. Лактанций, которого император Константин избрал в наставники своему сыну, прямо спрашивал, какое блаженство он обретет, если будет знать, где берет свое начало Нил и все, что говорят суемудрые физики о небе. Вот и ответьте ему на его вопрос! Если философию Платона предпочли всякой другой, то лишь потому, что она стремилась познать не природу, а Бога. Могу вас заверить, близок час, когда человечество вернется к этой точке зрения и признает, что задача истинной науки не в погоне за нечестивыми истинами, а в умении отмести все пагубное или даже просто духовно маловажное, — словом, свидетельствовать в пользу инстинкта, меры и выбора. Ребячество думать, будто церковь отстаивала тьму и боролась со светом. Она трижды была права, объявляя греховным всякое «беспристрастное» стремление к познанию природы вещей, то есть такое, какое не заботится о духовном, об обретении вечного спасения, а если что действительно погружало и еще глубже погружит человечество во тьму, так это «беспристрастное», лишенное всякой философии естествознание.
601. — Вы проповедуете прагматизм, — возразил Сеттембрини, — который достаточно перенести в область политики, чтобы сразу увидеть всю его опасность. Хорошо, истинно и справедливо лишь то, что полезно государству. Его благо, его величие, его могущество

становятся высшим нравственным критерием. Прекрасно! Но тем самым открывается полный простор любому злодеянию, и от простой человеческой правды, индивидуальной справедливости, демократии остаются рожки да ножки...

602. — Будем хоть немного логичны, — предложил Нафта. — Либо Птолемей и схоласты правы, и мир конечен во времени и в пространстве. Тогда божество трансцендентно, противоположность между Богом и миром остается в силе и человек тоже существо дуалистическое: конфликт его души состоит в столкновении чувственного и сверхчувственного, а все общественное, таким образом, отходит на второй план. Только такой индивидуализм я могу признать последовательным. Либо ваши астрономы эпохи Возрождения открыли истину, и космос бесконечен. Тогда нет сверхчувственного мира, нет дуализма; потустороннее входит в посюстороннее, противоположность между Богом и природой отпадает, и поскольку в этом случае человеческая личность также перестает быть ареной единоборства двух враждебных начал, а напротив, представляет собой единое гармоническое целое, то в основе внутреннего человеческого конфликта лежит исключительно противоречие между личными и общими интересами, и задачи государства, как в пору язычества, становятся нравственным законом. Либо одно, либо другое.
603. завоевания Ренессанса и эпохи Просвещения — это, милостивый государь, раскрепощение личности, права человека, свобода!
604. — Блестяще! — процедил он сквозь зубы; Иоахим тоже явно остался очень доволен, несмотря на камень, брошенный в огород пруссачества.
605. Все воспитательные союзы, достойные этого наименования, издавна знали, к чему действительно сводится всякая педагогика: это категорический приказ, железная спаянность, дисциплина, самопожертвование, отрицание собственного «я», насилие над личностью. И, наконец, только бездушным непониманием юношества можно объяснить представление, будто молодежь жаждет свободы. В душе она страстно жаждет послушания.
606. идеального первобытного состояния человечества, состояния, когда люди не знали ни государства, ни насилия и в детской своей невинности были близки к Богу;
607. тогда не существовало ни господ, ни слуг, ни закона, ни наказания, ни несправедливости, ни плотских связей, ни классовых различий, ни труда, ни собственности, а царило равенство, братство, нравственное совершенство.
608. — Как угодно. Я констатирую наше полное единомыслие в отношении первоначального райского, не знающего судопроизводства, детски-невинного состояния, утраченного после грехопадения. Думаю, что мы можем пройти еще отрезок пути вместе, объяснив возникновение государства общественным договором, необходимость коего возникла с появлением греха для защиты от несправедливости, и признаем в государстве источник власти и насилия.
609. Не будь преходящий характер государства написан у него на лбу, — того исторического факта, что оно возникло по воле народа, а не учреждено — подобно церкви — Господом Богом, было бы вполне достаточно, чтобы заклеить его, если не как прямое порождение дьявола, то уж во всяком случае как порождение необходимости и греховной немощи.
610. — Я знаю, что вы думаете о национальном государстве. «Нет ничего выше любви к отчизне и безграничной жажды славы». Я цитирую Вергилия. Вы приправляете его небольшой дозой либерального индивидуализма, и вот вам демократия; но ваше принципиальное отношение к государству от этого несколько не меняется. Вам и дела нет до того, что душа государства — деньги. Надеюсь, вы не станете это отрицать. Античность была капиталистична, потому что преклонялась перед государством. Христианское средневековье ясно осознавало капиталистическую сущность светского государства. «Деньги станут кесарем» — это предсказание относится еще к одиннадцатому веку. Станете вы отрицать, что оно исполнилось слово в слово и что тем самым дьявол возобладал над человеком?

611. в самом деле, всемирное государство — выход за пределы светского государства, а мы оба одинаково верим, что совершенному начальному состоянию человечества должно соответствовать и скрытое еще в далеком будущем, совершенное конечное состояние.
612. Что власть есть зло, мы знаем. Но царствие Божие придет лишь тогда, когда дуализм добра и зла, потуги посюстороннего, духа и власти, будет на время снят, уступив место принципу, соединяющему в себе и аскетизм и господство. Вот это я и имею в виду, говоря о необходимости террора.
613. Отцы церкви называли слова «мое» и «твое» пагубными, а частную собственность — узурпацией и кражей. Они отвергали частное землевладение, ибо согласно Божескому естественному праву земля есть общее достояние людей и потому плоды свои приносит для всех. Они учили, что только алчность, следствие грехопадения, защищает права владельца и создала частную собственность. Они были настолько гуманны, настолько презирали торгашество, что считали коммерческую деятельность губительной для души, то есть для человечности. Они ненавидели деньги и денежные операции и говорили, что капитал поддерживает жар адского пламени. Они ото всей души презирали основной закон экономики, по которому цена определяется соотношением спроса и предложения, и клеймили использование конъюнктуры как циничную эксплуатацию нужды ближнего. Но, на их взгляд существовала еще более греховная эксплуатация — эксплуатация времени, чудовищный произвол заставлять платить себе премию за простое течение времени, а именно проценты, злоупотребляя общим, данным Богом установлением, каким является время, ради выгоды одного и в ущерб другому.
614. — Совершенно справедливо! — продолжал Нафта. — Мысль о самопроизвольном росте денег казалась отвратительной этим человеколюбцам, и под понятие лихоимства они подводили любые ростовщические махинации, заявляя, что всякий богач либо вор, либо наследник вора. Они шли дальше. Подобно Фоме Аквинскому, они считали постыдным занятием торговлю вообще, торговлю в чистом виде — то есть куплю и продажу с извлечением барыша, но без обработки и улучшения продукта. Сам по себе труд они ставили не очень высоко, ибо он дело этическое, а не религиозное и служит жизни, а не Богу. Но постольку поскольку речь шла о жизни и экономике, они требовали, чтобы условием экономической выгоды и мерилom общественного уважения служила продуктивная деятельность. Они уважали землепашца, ремесленника, но никак не торговца, не мануфактуриста. Ибо они хотели, чтобы производство исходило из потребностей и порицали массовое изготовление товаров. И вот все эти погребенные было в веках экономические принципы и мерилa воскрешены в современном движении коммунизма. Совпадение полное, вплоть до внутреннего смысла требования диктатуры, выдвигаемого против интернационала торгашей и спекулянтов интернационалом труда, мировым пролетариатом, который в наше время противопоставляет буржуазно-капиталистическому загниванию гуманность и критерии града Божьего. Ведь глубочайший смысл диктатуры пролетариата, этого политико-экономического спасительного требования современности, отнюдь не в господстве ради господства во веки веков, а во временном снятии противоречия между духом и властью под знаменем креста, смысл ее в преодолении мира путем мирового господства, в переходе, в трансцендентности, в царствии Божием. Пролетариат продолжает дело Григория. В нем горит его рвение во славу Господа Бога, и подобно папе пролетариат не побоится обогреть руки свои кровью. Его миссия устрашать ради оздоровления мира и достижения спасительной цели — не знающего государства, бесклассового братства истых сынов Божиих.
615. — Противоречия, — сказал Нафта, — могут быть и сообразными. Несообразно лишь половинчатое и посредственное. Ваш индивидуализм, как я уже позволил себе заметить, есть половинчатость, уступка. Он приправляет вашу языческую гражданскую добродетель чуточкой христианства, чуточкой «прав человека», чуточкой так называемой свободы, вот и все. Индивидуализм же, исходящий из космической, астрологической значимости каждой души, индивидуализм не социальный, а религиозный, который усматривает человечность не в противоречии «я» и «общества», а в противоречии «я» и Бога, тела и духа, — такой

истинный индивидуализм прекрасно уживается с обязательствами, налагаемыми коллективом...

616. — Молчите, инженер! — оборвал он молодого человека с суровостью, которую следовало приписать нервозности и возбуждению. — Поучайтесь, но не мудрствуйте!
617. Отвергая индустрию, христианский коммунизм отвергает технику, машину, прогресс. Отвергая то, что вы именуете торгашеством, то есть деньги и денежные операции, которые античность ставила неизмеримо выше земледелия и ремесла, он отвергает свободу. Ибо совершенно очевидно, что тем самым, как в средние века, все частные и общественные отношения становятся опять-таки зависимы от земли, в том числе — мне нелегко это выговорить — и человеческая личность. Если кормит только земля, то одна лишь земля дает и свободу
618. Я же стою на том, что дело свободы, или, если говорить конкретнее, дело городов, буржуазной цивилизации, при всей своей прогрессивности, исторически связано со страшным падением морали в области экономики, со всеми ужасами современного торгашества и спекуляции, с сатанинской властью чистогана, барыша.
619. и в них-то и помещался республиканец-капиталист
620. Мой долг указать вам, как людям молодым и неопытным, хотя бы на духовную опасность общения с этим человеком и просить вас особенно с ним не сближаться. Его форма — логика, но сущность — хаос.
621. Господин Нафта умен — это встречается не так уж часто. Он любит рассуждать, я тоже. Пусть осудит меня кто хочет, но я пользуюсь случаем скрестить клинки идей с достойным противником. Я один как перст... Короче говоря, это правда, я захожу к нему, он ко мне, мы гуляем вместе. И спорим. Спорим до остервенения чуть ли не каждый день, но, признаюсь, противоположность и враждебность его взглядов, может быть, особенно меня и прельщает, заставляет искать встреч с ним. Мне необходима разминка. Чтобы убеждения жили, их надо почаще бросать в бой, а я в своих убеждениях крепок. Но можете ли вы утверждать то же самое о себе — вы, лейтенант, да и вы, инженер? Вы безоружны против интеллектуального жонглирования, вам угрожает опасность, ваш ум и душа могут пострадать от всей этой фанатической, озлобленной казуистики.
622. а послушать соображения Нафты во всяком случае стоит: надо отдать ему справедливость, то, что касалось коммунизма, при котором никому не будет дозволено брать проценты за время, было замечательно, и потом ему были интересны некоторые мысли о педагогике, которые без Нафты он никогда бы не услышал...
623. — ...Он много говорил против денег, этой души государства, как он выразился, и против собственности, потому что она, по сути дела, — кража, словом против капиталистического богатства, о котором он, насколько я помню, сказал, что оно поддерживает жар адского пламени, — примерно так он выразился, если не ошибаюсь, и на все лады восхвалял средневековье, запрещавшее взимать проценты. А между тем он сам... Простите, но у него должно быть... Просто диву даешься, когда к немуходишь. Весь этот штоф...
624. — Сам-то по себе, — подхватил Сеттембрини, — господин Нафта такой же капиталист, как я.
625. — Что ж, эта публика не позволит нуждаться никому из своих.
626. Однако он член ордена и, если бы даже был менее тесно с ним связан, никогда не будет ни в чем нуждаться. Я сказал вам, что сам по себе он беден, вернее, не имеет никакой собственности. Как же иначе, таков устав. Зато орден располагает несметными богатствами и, как видите, неплохо печется о своих.
627. — Надо думать, ему это предписывают чувство такта и личный вкус. Он, как я понимаю, успокаивает свою антикапиталистическую совесть, живя в комнате бедняка, и возмещает себе урон образом жизни, которого придерживается. Известную роль играет также осторожность. Незачем афишировать, как хорошо о тебе печется нечистый. Вот он и прикрывается неказистым фасадом, а за ним дает волю своим поповским пристрастиям к шелкам и бархату.

628. Как хотите, но мы не раз еще побываем у вас в доме и навестим господина Нафту. Решено и подписано. Такие встречи необыкновенно расширяют кругозор, позволяют заглянуть в мир, о существовании которого не имеешь ни малейшего представления. Настоящий иезуит!
629. Он наговорил таких вещей — вы знаете, что я имею в виду, — о христианском коммунизме и религиозном рвении пролетариата, который не побоится обогреть руки кровью, — словом, вещи, по сравнению с которыми ваш дед с его копьем гражданина был, простите, сущим агнцем. Позволительно ли это? Одобряет ли подобные взгляды его начальство? Согласуются ли они с учением римско-католической церкви, которое орден путем всяких козней и интриг старается распространить по всему свету, как я слышал? Не есть ли это, что называется — ну, ересь, вывих, отступничество? Вот о чем я спрашиваю себя относительно Нафты и очень хотел бы услышать ваше мнение.
630. — Итак, я еще раз предостерегаю вас, мои юные друзья. Я не могу запретить вам продолжать это знакомство, если вас одолевает любопытство. Но вооружите сердце и ум недоверием, пусть никогда не иссякнет в вас дух критического отпора. Я охарактеризую вам этого человека одним словом. Он сладострастник.
631. — Ну так вот, тогда в беседе, как это, слава Богу, часто случается, мы коснулись с вами высоких предметов. Мы говорили, помнится мне, о жизни и смерти, о благолепии смерти, поскольку она условие и принадлежность жизни, и о страшной личине, в какой она является нам, лишь только дух превратно ее обособляет, превращает в самодовлеющий принцип! Господа! — продолжал Сеттембрини, наступая на молодых людей и, как вилкой, тыча в них пальцами левой руки, чтобы лучше овладеть их вниманием, и предостерегающе подымая указательный палец правой... — Запомните, дух суверенен, воля его свободна, и это он определяет нравственный мир. Но достаточно духу дуалистически обособить смерть, и смерть по воле духа становится, действительно и на деле, асту, вы понимаете меня, самодовлеющей, враждебной жизни силой, сатанинским принципом, великой искусительницей, и царство ее — сладострастие. Вы спросите меня, почему сладострастие? Я отвечаю: потому что она освобождает и избавляет, потому что она избавление, но не избавление от лукавого, а лукавое избавление. Она освобождает от морали и нравственности, избавляет от выдержки и твердости, дает простор сладострастию. Если я предостерегаю вас от этого человека, с которым свел вас помимо воли, если я призываю вас при встречах с ним трижды опоясать свое сердце стальным поясом критики, то лишь потому, что все мысли его исполнены сладострастия, ибо они стоят под эгидой смерти, — а смерть в высшей степени распутная сила, как я вам однажды уже доложил, инженер, — я хорошо помню, что употребил это выражение, так как всегда храню в памяти точные и меткие эпитеты, которые мне случается употреблять, — сила, направленная против нравственности, прогресса, труда и жизни, и благороднейшая задача всякого наставника уберечь молодые умы от ее тлетворного дыхания.
632. Так было со всеми. Дата приезда не внушала симпатии; больные, жившие здесь по году и больше, предпочитали не вспоминать о ней, и если обычно обитатели «Берггофа» пользовались любым поводом для празднований и тостов, по мере сил умножая общепринятые большие отклонения в размеренном ритме и пульсации года — частными и случайными, так что ни один день рождения, общее обследование, предстоящий самовольный или законный отъезд не обходились без пиршества и хлопанья пробок в ресторане, — то годовщину приезда отмечали разве что молчанием, позволяя ей проскользнуть незаметно, а то и в самом деле, видимо, забывая о ней и полагаясь на то, что и другие навряд ли ее вспомнят.
633. Счет времени вели все; следили за календарем, сменой времен года, возрождением и смертью в природе.
634. Ибо злосчастная голова ее, разумеется, была забита никому не нужными датами и вздором, и она обожала совать нос в чужие дела; однако обычай держал ее в узде.
635. Неужели пришла зима? Если верить чувствам, то создавалось такое впечатление, и все жаловались, что «лета и не видели», хотя сами же его упустили, безрассудно растрчивая

время, личное и календарное, в чем им помогали окружающие естественные и искусственные условия.

636. за это в самом деле стоит Бога благодарить, — и когда на равнине приходит лето или зима, то с прошлого лета или зимы протекло уже ровно столько времени, что лето и зима кажутся нам новыми и желанными, и на этом-то и покоится вкус к жизни.
637. — Весьма признателен за объяснение, — сказал Иоахим. — А теперь, когда ты мне все растолковал, ты, как мне сдается, так собой доволен, что заодно доволен и всей здешней жизнью... Нет! Хватит! — почти выкрикнул Иоахим.
638. Таков был страшный ход мыслей Ганса Касторпа. Еще в тот же день всем его сомнениям суждено было разрешиться: Иоахим высказался, жребий был брошен, и теперь слово оставалось за ним.
639. Выслушивая братьев, он с грустью и покорностью все еще продолжал изливать душу по этому поводу; истинный мастер аускультации, он был способен одновременно выслушивать у человека нутро, разговаривать о посторонних предметах и диктовать ассистенту результаты обследования.
640. — Да, да, gentlemen[183], проклятое libido![184] — говорил он. — Вы-то, конечно, еще находите удовольствие в этой штуке, что вам... Везикулярное... Но мне, как главному врачу, все это осточертело, можете мне... притупление... можете мне поверить. Чем я виноват, если туберкулез связан с повышенной половой возбудимостью?..
641. У нас имеется психоанализ, мы даем больным возможность выговориться — черта с два! Чем больше эти хрипуны рассказывают, тем становятся похотливее. Я лично прописываю математику...
642. Занятие математикой, говорю я им, превосходное средство против амуров.
643. Прокурор Паравант, которого донимали соблазны плоти, кинулся в математику, возится теперь с квадратурой круга и чувствует большое облегчение. Но большинство слишком глупы и слишком ленивы, прости Господи...
644. — Ну, что ж, хорошо, Цимсен. — Гофрат изменил тон, сделался покладистее, как-то весь обмяк. — Хорошо, Цимсен. Можете стать вольно! Поезжайте с Богом. Я вижу, вы знаете, чего хотите, и берете это дело на себя, и, конечно, это в конце концов ваше дело, а не мое, с той самой минуты, как вы берете его на себя. Каждый сам себе хозяин. Вы едете без гарантии, я ни за что не ручаюсь. Но, даст Бог, все может и обойтись. Солдатская служба на вольном воздухе. Весьма возможно, что она пойдет вам на пользу и вы выкарабкаетесь.
645. Он будет жить там, в равнинном мире, среди людей, которые и понятия не имеют о том, как следует жить, ничего не знают о градусниках, об искусстве заворачивания в одеяла, о спальнях мешках, о троекратных обязательных прогулках, о... даже трудно сказать, трудно перечислить все, чего люди там не знают
646. Но если это невозможно, — значит, он должен остаться и жить здесь наверху один, без Иоахима? Да, должен. До каких же пор? До тех пор, пока Беренс не отпустит его как вполне здорового, не отпустит всерьез, а не так, как сегодня.
647. Ведь господин Сеттембрини был глашатаем идей и сил, к которым, конечно, стоило прислушаться, впрочем, не безоговорочно и не только к ним, но и к другим идеям и силам.
648. Ведь чтобы вырвать из сумбура чувств эту мысль, он и лег сегодня на балкон в мокрядь и холод
649. Видимо, Ганс Касторп придерживался воззрений квиетистов, считавших, что действовать значит гневить Бога, которому одному угодно действовать. Во всяком случае, вся активность Ганса Касторпа в эти дни свелась
650. Но радость перевешивала. От избытка сердца глаголют уста, и Иоахим не умолкая говорил о себе самом, предоставив брата собственной судьбе.
651. Фрау Штёр, желая ему счастливого пути, прослезилась, — это были легко льющиеся несоленые слезы человека необразованного
652. Место напротив занимал чех, которого все звали господином Венцелем, потому что настоящей его фамилии никто не в состоянии был выговорить. В свое время господин Сеттембрини иной раз пытался одним духом выпалить немыслимое сочетание согласных,

из которых оно состояло, — разумеется, не всерьез, а лишь затем, чтобы забавы ради продемонстрировать благородную неспособность человека латинской культуры прорваться сквозь этот варварский частокор звуков. Жирный, как боров, и поразительно прожорливый даже по сравнению со здешними обитателями, чех тем не менее уже четыре года твердил, что непременно умрет. По вечерам, когда в гостиной собиралось общество, он иногда брэнчал на перевязанной лентой мандолине песни своей родины и рассказывал о своих свекловичных полях, где работают одни только красивые девушки.

653. Ближе к Гансу Касторпу, по обе стороны стола, сидели господин и госпожа Магнус, у которых был свой пивоваренный завод в Галле. Атмосфера грусти обволакивала эту пару, ибо и тот и другой теряли важные для жизни продукты обмена: господин Магнус — сахар, а фрау Магнус — белок.
654. Прежде Сеттембрини с присущим ему юмором умел в таких случаях сгладить острые углы, но занявший место итальянца Ганс Касторп был менее ловок, да и не обладал достаточным авторитетом, чтобы его заменить.
655. Лишь с двумя соседями по столу Ганса Касторпа связывали более близкие отношения: один из них был сидевший слева от него А.К. Ферге из Петербурга, благодушный страдалец, любивший, цедя слова сквозь пышную бахрому рыжевато-каштановых усов, поговорить о производстве галош и о далеких окраинах Российской империи, полярном круге и вечной зиме на Нордкапе; с ним Ганс Касторп иногда даже отправлялся на обязательные увеселительные прогулки.
656. Это было необыкновенно и потрясающе, с ним рядом сидел представитель и посланец родины, принесший в складках добротного своего английского костюма еще свежий аромат былой, канувшей в вечность, старой жизни, другого, лежащего где-то там в глубине подлунного мира.
657. Ганс Касторп не справлялся о родных и знакомых дома. Когда Джемс передал ему поклоны оттуда, в частности от Иоахима, который уже в полку и так и светится от счастья и гордости, он спокойно поблагодарил, но сам не стал его расспрашивать о том, что делается на родине.
658. коммерческих делах, ни о фирме «Тундер и Вильмс» (судостроительные верфи, машиностроительный завод, котельные мастерские), которая все еще ждала молодого практиканта, что, понятно, ни в коей мере не составляло единственной заботы и занятия достопочтенной фирмы, так что поневоле возникал вопрос, ждет ли она его еще вообще. Правда, Джемс Тинапель по пути сюда в кабриолете и позднее у себя в комнате пытался коснуться всех этих предметов, но они падали наземь, чтобы больше уже не подняться, натолкнувшись на спокойное, непреклонное и ничуть не притворное безразличие Ганса Касторпа
659. Он услышал о скоротечной, галопирующей форме этого процесса, которая за два-три месяца или даже несколько недель приводит к exitus'у, услышал о пневмотомии, с величайшим искусством производимой гофратом, о резекции легких, — эту операцию завтра или послезавтра предполагают сделать недавно прибывшей тяжелобольной, очаровательной или некогда очаровательной шотландке, страдающей gangraena pulmonum, гангреней легких, ее точит черно-зеленая зловонная гниль, и она целыми днями вдыхает распыленную карболовую кислоту, чтобы от отвращения к себе самой не потерять рассудок, — и вдруг, совершенно неожиданно для себя, консул, к величайшему своему стыду, прыснул. Прыснул со смеху, правда тут же в ужасе опомнился и сдержался, закашлял и вообще всячески попытался замять нелепую выходку — и в какой-то мере успокоился, а затем даже забеспокоился, увидев, что Ганс Касторп, который не мог не заметить злополучного происшествия, нисколько не смутился, вернее оставил его без внимания, и это вовсе не вызывалось чувством такта, деликатностью, воспитанием, а чистейшим безразличием, какой-то чудовищной терпимостью, словно он давно разучился удивляться подобного рода вещам.
660. но стоило ему попасть в чуждое по нравам и обычаям окружение, к примеру во время поездок на юг страны, как у него появлялась какая-то торопливая предупредительность

661. и учтиво-поспешная готовность к самоотречению, что, впрочем, проистекало отнюдь не из неуверенности в усвоенной им культуре, а, напротив, как раз из сознания ее замкнутости и цельности, а также из желания внести корректив в свои аристократические повадки, чтобы сохранить непринужденность даже среди немислимых, на его взгляд, обычаев и нравов. «Конечно, разумеется, бес-спорно!» — поспешно соглашался он, дабы кто-нибудь, Боже упаси, не подумал, что господин Тинапель хоть и утончен, но ограничен. Прибыв сюда с вполне определенной практической миссией, а именно с наказом и с намерением самолично во всем разобраться и, как он про себя говорил, «вызволить» и доставить домой заблудшего молодого родственника, он все же хорошо понимал, что ему предстоит действовать на чужой территории, и с первого же мгновения не без опаски ощутил, что принявший его как гостя особый мирок со своими обычаями и нравами не только не уступает, но даже превосходит своей замкнутой самоуверенностью его собственный мир, так что деловая энергия консула тотчас же вступила в конфликт, и жесточайший, с его благовоспитанностью, ибо самонадеянность этого мирка оказалась поистине подавляющей.
662. В его состоянии самое остроумное некоторое время пожить так, словно у него легкий tuberculosis pulmonum, который, кстати говоря, имеется у всех.
663. Консул острил. Дух равнины все еще крепко сидел в нем, и он посмеивался над всей этой премудростью, как перед тем насмеялся над предписанной после завтрака строго регламентированной увеселительной прогулкой. Но когда он увидел безмятежно-спокойную улыбку, с какой племянник встречал все его шуточки, улыбку, отражавшую, как в зеркале, всю самонадеянность этого обособленного мирка, ему стало не по себе, он испугался за свою деловую энергию и тут же решил, не откладывая, возможно скорее, еще сегодня же днем добиться встречи с гофратом и серьезно поговорить с ним о племяннике, пока у него, Тинапеля, еще не иссяк запас сил и крепости духа, вывезенный из равнины, ибо он чувствовал, что слабеет, что дух санатория вкупе с его собственной благовоспитанностью уже вступили против него в опасный союз.
664. Что могло быть естественнее, как после первого лежания на воздухе сесть за обильный второй завтрак, вслед за которым с самоочевидностью напрашивалась прогулка вниз, к «курорту», и потом позволить Гансу Касторпу вновь обернуть твои ноги. Вот именно, обернуть тебя... вокруг пальца.
665. Но воскресным вечером, после ужина, в гостиной, консул благодаря сильно декольтированному черному с блестками платью, в которое фрау Редиш нарядилась, сделал важное открытие, а именно, что у нее имеются груди, матово-белые, туго стиснутые корсажем женские груди, разделенные довольно-таки далеко видной ложбинкой, — открытие, до глубины души потрясшее и восхитившее этого зрелого и утонченного джентльмена, словно речь шла о чем-то совершенно новом, доселе невиданном и неслыханном.
666. Отец его, о котором он говорил с уважением, — очевидно, считая, что уже перерос свою прежнюю среду и может отзывать о ней благосклонно
667. он воспринимал это зрелище, как воспринимают дети, способные иногда чувством схватывать самую суть явлений
668. Но именно этот-то ореол несколько крамольной святости, при котором немалую роль играл присущий его ремеслу запах крови, и погубил Элию Нафту. Во время беспорядков и погромов, вызванных загадочной смертью двух христианских детей, Элия страшным образом поплатился жизнью: его распяли, пригвоздили к двери собственного дома, который погромщики подожгли
669. От матери мальчик унаследовал предрасположение к чахотке, а от отца, помимо хрупкого телосложения, незаурядный ум и способности, к которым очень рано присовокупились тщеславие, непомерное честолюбие, неутолимая жажда изысканного комфорта, будившие в нем страстное желание подняться над окружавшей его средой.
670. Читением книг, которые пятнадцатилетний подросток добывал всеми правдами и неправдами, он нетерпеливо и беспорядочно развивал свой ум, поставляя ему таким образом недостававшую ему в школе пищу. Он думал и высказывал вслух такие вещи, от

которых его чахнувшая на глазах мать только криво втягивала голову в плечи и всплескивала изможденными руками.

671. Своим поведением и ответами на уроках Закона Божьего мальчик привлек внимание окружного раввина, набожного и ученого человека, который стал заниматься с ним у себя на дому, утолив его любовь к отточенной форме уроками древнееврейского и классических языков, а склонность к логическому мышлению — математикой. Но за все свои труды добряк ничего не пожал, кроме черной неблагодарности; чем дальше, тем яснее становилось, что он пригрел змею на своей груди.
672. честному книжнику пришлось немало натерпеться от непокорного ума, придирчивых вопросов и сомнений, духа противоречия и разящей диалектики юного Лео.
673. Вдобавок мудрствования и интеллектуальные выверты Нафты приняли напоследок революционную окраску: знакомство с сыном одного социал-демократа, члена рейхсрата, а затем и с самим этим вожаком масс, заставило Лео размышлять о политике, а его страсть к логике направило на критику общественных порядков; от его речей у дорожившего своей лояльностью честного талмудиста волосы становились дыбом. Все это в конце концов привело к решительному разрыву между учителем и учеником. Короче говоря, дело кончилось тем, что учитель выгнал Нафту, запретив ему переступать порог своего кабинета, как раз в то время, когда мать Лео, Рахиль Нафта, лежала при смерти.
674. сидел там, погруженный в мрачные и горькие мысли о своей участи и о будущем
675. Иезуит, образованный человек, много повидавший на своем веку, но педагог по призванию, знаток и ловец человеческих душ, наострил уши при первых же произнесенных с явной иронией фразах, которыми жалкий еврейский юноша отвечал на его расспросы.
676. В них чувствовался острый озлобленный ум, а когда патер решил копнуть поглубже, то натолкнулся на знания и ядовитое изящество мысли, которых никак нельзя было предположить у молодого оборванца.
677. Они говорили о Марксе, с чьим основным трудом, «Капиталом», Лео познакомился по дешевенькому массовому изданию, а с него перешли на Гегеля, которого или о котором он тоже читал достаточно, чтобы высказать несколько оригинальных суждений. То ли вообще из любви к парадоксам, то ли учтивости ради, он назвал Гегеля «католическим» мыслителем, и на заданный патером с улыбкой вопрос, как же это обосновать, поскольку Гегеля в качестве прусского государственного философа, собственно, да и по существу, следовало бы скорее считать протестантом, возразил: именно выражение «государственный философ» доказывает, что в религиозном смысле (разумеется, не в церковно-догматическом) он прав в отношении католицизма Гегеля. Ибо — Нафта питал особое пристрастие к этому союзу, который приобретал в его устах что-то победоносно-неумолимое, и всякий раз, когда ему удавалось вернуть это словечко, глаза его за стеклами очков вспыхивали холодным блеском, — ибо политика и католицизм — понятия психологически связанные, они принадлежат к одной категории, охватывающей все объективное, созидающее, деятельное, претворяющее в действительность и обращенное к внешнему миру. Ей противостоит пиетистская, идущая от мистики сфера протестантизма. У иезуитов, добавил он, политико-педагогическая сущность католицизма становится особенно очевидной; орден всегда считал своей вотчиной искусство управления государством и педагогику. И он назвал еще Гете, уходящего корнями в пиетизм и несомненного протестанта, человеком, бывшим в некоторой мере католиком — именно благодаря его объективизму и призыву к действию. Он защищал таинство исповеди и как педагог в своих взглядах был чуть ли не иезуитом.
678. Высказал ли Нафта все эти мысли потому, что они соответствовали его внутреннему убеждению, или потому, что находил их остроумными, или в угоду своему собеседнику
679. патера занимала не столько правдивость его слов, сколько гибкость ума, о которой они свидетельствовали
680. Подобно многим одаренным евреям, Нафта от природы был и революционером и аристократом; этот социалист спал и видел, как бы самому приобщиться к изысканному и замкнутому образу жизни надменных высших кругов. Первое же заявление, на которое его

- толкнуло присутствие католического священника, хотя и выраженное в сугубо аналитически-сравнительной форме, было объяснение в любви к римско-католической церкви, которую он воспринимал как некую одновременно и аристократическую и духовную, то есть антиматериальную, враждебную действительности и всему мирскому, а стало быть, революционную силу. И это признание было искренним и шло из самых недр его существа; ибо, как сам он разъяснял, иудаизм, в силу своей направленности на все земное и практическое, в силу своего «социализма» и всего политического образа мысли, ближе стоит к католической сфере и более ей сродни, нежели протестантизм с его созерцательностью и мистическим субъективизмом, потому-то и обращение еврея в католичество — процесс духовно куда менее болезненный, чем обращение протестанта.
681. так что «открывшему» его Унтерпертингеру не стоило никакого труда привести эту душу, или, вернее, незаурядный ум, в лоно католической церкви.
682. Он переселился туда не задумываясь, с величайшим хладнокровием, с невозмутимостью истинного аристократа духа, предоставив младших братьев и сестер заботам благотворительных учреждений и той незавидной доле, на какую обрекала их собственная посредственность.
683. Принадлежавшие пансиону земельные угодья были не менее обширны, чем жилые его постройки, где размещалось около четырехсот воспитанников; сюда входили леса и пастбища, полдюжины спортивных площадок, всевозможные службы, хлева на несколько сотен голов скота. Пансион «Утренняя звезда» был одновременно интернатом, образцовым поместьем, спортивной академией, лицеем и храмом муз, ибо там процветали театр и музыка. Жизнь здесь была помещицье-монастырской. Строгим своим порядком и внешним лоском, своей благочинной безмятежностью, интеллектуальной атмосферой и материальным благоденствием, четким и разнообразным расписанием дня она как нельзя более потворствовала подспудным наклонностям Лео.
684. религиозных упражнений, которым он, поставив себе в пример средневековых фанатиков, предавался с каким-то даже духовным сладострастием.
685. Приемы воспитания, предметом которого он стал, своим хитроумием и каверзностью как нельзя больше соответствовали его природным задаткам и способствовали их проявлению. При всех этих духовных упражнениях, в которых он проводил дни и даже часть ночи, всех этих испытаниях совести, размышлениях, самоуглублениях, созерцаниях он с дошлостью заядлого казуиста увязал в сотнях неразрешимых противоречий, трудностей, спорных вопросов. Нафта повергал в отчаяние своего духовного наставника, — что не мешало патеру возлагать на него самые большие надежды, — каждодневно допекая его страстной своей диалектикой и недостатком простодушной веры. «Ad haec quid tur?»[189] — вопрошал он, сверкая стеклами очков... И загнанному в тупик патеру не оставалось ничего другого, как призывать его к молитве, дабы он обрел душевный покой — *ut in aliquem gradum quietis in anima perveniat*. Однако «покой» этот если и достигался, то ценой полного отупения и потери собственного «я», превращения человека в простое орудие, — воистину могильный покой, зловещие внешние признаки которого брат Нафта мог заметить на многих, потерявших всякое выражение, пустоглазых физиономиях своих однокашников, такого покоя ему никогда не достичь, как бы он ни изнурял постом и молитвой свое тело.
686. Впрочем, все эти его сомнения и споры не повредили ему в мнении начальников, что свидетельствовало об их, несомненно, высоком интеллектуальном уровне.
687. о взаимной симпатии, которую оба они должны чувствовать к своим родственно близким профессиям и сословиям. Ибо и то и другое сословие было военным во многих смыслах: как в смысле аскетизма и иерархии, так и в смысле повиновения и испанской чести.
688. Господнем и сатанинском, под которыми собирались перед великим походом два воинства: вблизи Иерусалима — воинство, коим командовал Спаситель, «capitan general»[190] всех добрых христиан, и другое, на равнине Вавилонской, где «caudillo», или предводителем, был Люцифер...
689. не просто противостояли искушениям бунтующей плоти («*rebellioni carnis*»), что свойственно всякому мало-мальски здравомыслящему человеку, а боролись и наступали на

горло любым чувственным побуждениям, себялюбие и жизнелюбие даже в вещах, дозволенных всем и каждому.

690. Ибо деятельно бороться с врагом, то есть атаковать, выше и достолавнее, чем просто обороняться («resistere»). Измотать и сломить врага! — значилось в полевом уставе, и его составитель, испанец Лойола, и тут проявил полное единодушие с capitán general Иоахима, прусским Фридрихом и его правилом ведения войн: «Атаковать! Атаковать!», «Не давать врагу опомниться!», «Attaquez donc toujours!»[191].
691. Но что особенно сближало мир Нафты с миром Иоахима, было их отношение к насилию и общая для них аксиома, что не следует бояться обогреть руки кровью: в этом оба мира, ордена и сословия, совершенно сходились, и для дитяти мира было чрезвычайно поучительно услышать рассказы Нафты о воинственных монахах средневековья, изнуравших себя подвижничеством, но скупаемых жаждой духовной власти и не боявшихся проливать реки крови, дабы основать на земле град Божий, всемирное господство духа, рассказы о рыцарях-храмовниках, считавших, что пасть в бою против неверных праведнее, чем почить в постели, и что убийство и смерть во славу Христову — не преступление, а высшая доблесть.
692. Во всяком случае, пока итальянец пылал патриотизмом, Нафта выдвигал против него в бой христианский космополитизм, утверждал, что считает каждую страну — и никакую — своей родиной и, желая его уязвить, цитировал формулу генерала ордена, Никеля, гласившую, что любовь к родине — «зараза и верная смерть христианской любви».
693. Понятно, что Нафта называл любовь к родине заразой, ратуя за аскетизм, ибо чего только не подразумевал он под этим словом и что только, на его взгляд, не противоречило аскетизму и царствию Божьему! Привязанность к семье и родине и даже простая забота о своем здоровье и жизни, — этой-то заботой он и попрекал гуманиста, когда тот воспевал мир и счастье; он гневно уличал Сеттембрини в любви к плоти, amor carnalis, в любви к телесному комфорту, commodorum corporis, и прямо в глаза говорил ему, что придавать какое-либо значение жизни и здоровью — доказательство чисто буржуазного безверия.
694. На почве подобного рода разногласий как-то, незадолго до Рождества, во время прогулки по снегу до курорта и обратно, состоялся большой коллоквиум о здоровье и болезни, и все они приняли в нем участие: Сеттембрини, Нафта, Ганс Касторп, Ферге и Везаль, — всех немного лихорадило, от ходьбы и разговоров на сильном морозе все чуть осоловели и вместе с тем были возбуждены, всех бросало в озноб, но независимо от того, участвовал ли кто активно в споре, как Нафта и Сеттембрини, или больше слушал, довольствуясь краткими репликами, — все рассуждали с такой горячностью, что не раз в полном самозабвении, перебивая друг друга, останавливались шумной жестикулирующей ватагой посреди тротуара, загораживая дорогу прохожим, которые вынуждены были их оглядеть или же замедлять шаг и с изумлением прислушивались к их неистовым препирательствам.
695. Ганс Касторп на это заметил, что те, кому он оказывал внимание, за исключением пока что фрау фон Малинкрод и мальчика Тедди, как-никак не на шутку умерли, на что Сеттембрини спросил, стали ли они оттого более достойными уважения. Но разве христианский долг не повелевает почтительно склоняться перед страданием, возразил Ганс Касторп. Сеттембрини только было собрался его отчитать, но его опередил Нафта, заговорив о набожно-исступленном служении ближнему, которое знало средневековье, удивительных примерах фанатизма и экстаза в уходе за больными: дочери королей лобзали зловонные раны прокаженных, нарочно от них заражались и потом называли полученные язвы своими розами, пили воду, которой омывали гнойники, и клялись затем, что с ней не сравнится никакой нектар.
696. Сеттембрини сделал вид, что его сейчас вырвет. Его с души воротит не столько от физического отвращения, которое сами по себе вызывают эти рассказы и картины, сказал он, сколько от чудовищной бессмыслицы подобного представления о деятельном человеколюбии. Впрочем, он вскоре повеселел и приосанился, рассказывая о современных, передовых формах служения человечеству, победоносной борьбе с эпидемиями, и

противопоставил всем тем мерзостям гигиену, социальные реформы наряду с достижениями медицины.

697. — Все эти весьма почтенные на буржуазный взгляд блага, — возразил Нафта, — в те времена вряд ли оказали бы большую услугу как больным и несчастным, так и здоровым и счастливым, которые, оказывая помощь ближнему, движимы были не столько состраданием, сколько заботой о собственной душе. Ибо успешные социальные реформы лишили бы одних — главного средства ко спасению, а других — ореола святости. Поэтому длительное сохранение нищеты и болезней было в интересах обеих сторон, и такой взгляд остается правомерным, пока остается в силе чисто религиозная точка зрения.
698. «Гнусная точка зрения!» — заявил Сеттембрини, — взгляд, вздорность которого он даже считает ниже своего достоинства оспаривать. Ведь «ореол святости», равно как и то, что инженер с чужих слов говорил о «христианском долге, повелевающем склоняться перед страданием», — сплошной обман, основанный на заблуждении, на ложном представлении, на психологической ошибке. Сострадание, которое здоровый испытывает к больному и возводит до благоговения, потому что не представляет себе, как бы сам он на его месте выносил подобные муки, — сострадание это в высшей степени преувеличено, больные его вовсе не заслуживают, оно не более как плод аберрации мысли и фантазии, поскольку здоровый приписывает больному свои собственные чувства и представляет себе больного как здорового, вынужденного переносить страдания больного, что в корне неправильно. Больной есть больной, у него другая, изменившаяся психика, и ощущает он все по-своему; болезнь так приспособливает к себе свою жертву, что они преотлично друг с другом уживаются: тут вступают в действие понижение чувствительности, провалы сознания, наконец благодатные наркозы, духовные, нравственные средства приспособления и облегчения, о которых заботится сама природа, чего здоровый по наивности в расчет не принимает.
699. Но тут возмутился Антон Карлович Ферге, горой встав на защиту плеврального шока от клеветы и поношений. Как? Что? Слишком серьезно принял свой плевральный шок? Нет уж, покорно благодарю и простите! Его большой кадык и благодушные усы заходили ходуном от такого пренебрежительного отношения к перенесенным им страданиям.
700. Это самая страшная пакость, какая только существует на белом свете, и кто этого не пережил, как он, тот не может иметь об этой гнусности ни малейшего...
701. — Э-э-э! — протянул господин Сеттембрини. — День ото дня коллапс господина Ферге озаряется все большим величием и блеском, так что скоро он станет носить его вокруг головы наподобие нимба. — Он, Сеттембрини, не очень-то уважает больных, которые требуют, чтобы все им изумлялись. Он сам болен, тяжело болен, но, без всякой рисовки, скорее склонен этого стыдиться. Впрочем, он говорил не по чьему-либо адресу, а в чисто философском плане
702. Ведь стоит только в палате появиться врачу или постороннему, и сумасшедший, как правило, тут же перестает гримасничать, разглагольствовать и кривляться, и пока думает, что за ним наблюдают, ведет себя вполне пристойно, а затем снова распускается. Ибо безумие, несомненно, во многих случаях не что иное, как именно распушенность, оно служит прибежищем от большого горя, своеобразной мерой защиты натуры слабодушной от сокрушительных ударов судьбы, которые вынести в ясном сознании подобный человек не считает себя способным. Прибежище весьма заманчивое для многих, и ему, Сеттембрини, случилось одним только взглядом, тем, что он противопоставлял фиглярству сумасшедшего свое неумолимое здравомыслие, хотя бы на время заставить его обрести ясность рассудка.
703. Нафта язвительно рассмеялся, а Ганс Касторп заявил, что охотно верит господину Сеттембрини. Когда он представляет себе, как Сеттембрини, усмехаясь в усы, вонзал в сумасшедшего взгляд, исполненный непоколебимого здравомыслия, ему понятно, что бедняга скрепя сердце вынужден был брать себя в руки и обретал ясность рассудка, хотя, надо думать, воспринимал появление господина Сеттембрини как весьма нежелательную помеху... Но Нафта тоже бывал в домах для умалишенных, в частности он припомнил одно

посещение «буйного отделения». Боже ты мой, там ему довелось видеть такие сцены и такие картины, перед которыми даже здравомыслящий взгляд и умиряющее воздействие господина Сеттембрини, вероятно, пропали бы втуне — поистине дантовские сцены, трагикомические картины ужаса и муки: сумасшедшие, скорчившиеся нагишом под струями холодного душа в самых причудливых позах смертельного страха и тупого отчаяния, один — испуская истошные вопли, другие — воздев руки и широко разинув рты, заливаясь смехом, в котором смешались все атрибуты ада...

704. Однако позиция его, при необыкновенном ее благородстве, все же оставалась в корне ошибочной, так как исходила из уважения и благоговения перед телом, а это было бы лишь тогда оправдано, если бы тело пребывало в своем первоначальном божественном состоянии, а не в состоянии униженности — *in statu degradationis*. Ибо, сотворенное бессмертным, оно, вследствие грехопадения, утратило свое совершенство, подпало порче и мерзости, сделалось смертным и тленным, не чем иным, как темницей и застенком души, способным пробуждать лишь чувство стыда и смятения, *rudoris et confusionis sensum*, как сказал святой Игнатий.
705. Пусть тело его поражено пагубной гнилью, но дух свой он сумел сохранить достаточно здоровым и невредимым, чтобы достойным образом дать отпор поповским воззрениям Нафты на тело и вволю поиздеваться над так называемой «душой».
706. Вопрос об экзекуциях поднял Фердинанд Везаль, что, по мнению Ганса Касторпа, вполне ему пристало. Неудивительно, что господин Сеттембрини в высокопарных выражениях и взывая к человеческому достоинству высказался против применения этой варварской меры как в педагогике, так тем более в правосудии, — и тоже совершенно неудивительно, что Нафта выступил в пользу порки, хотя мрачная дерзость его утверждений всех несколько смутила. По его словам получалось, что болтать о человеческом достоинстве в данном случае просто нелепо, ибо вместилищем истинного достоинства является дух, а не плоть, и так как человек чересчур даже склонен извлекать все радости жизни из тела, то наносимая телу боль весьма подходящее средство, чтобы отбить у него охоту к чувственным наслаждениям и обратить его помыслы, так сказать, от плоти к духу, дабы дух вновь восторжествовал. Усматривать в таком средстве наказания, как побои, что-то особенно постыдное — попросту глупо. Духовный наставник святой Елизаветы Конрад Марбургский высек ее до крови, после чего «душа ее», как говорится в «Житии», «вознеслась до третьего ангельского чина», и сама она наказала розгами бедную старуху, клевавшую носом на исповеди. А самобичевания, которым предавались члены некоторых орденов и сект, да и вообще люди благочестивые, чтобы укрепить в себе духовное начало, — неужели кто-нибудь всерьез осмелится назвать и это варварством и бесчеловечностью? Думать же, что отмена законодательным путем телесных наказаний в некоторых мнящих себя передовыми странах в самом деле является чем-то прогрессивным, просто смешно, и непоколебимость этого представления лишь придает ему еще больший комизм!
707. Одно, во всяком случае, следует признать, заметил Ганс Касторп, в противоречии духа и плоти: злое сатанинское начало, несомненно, воплощает собою плоть, ха-ха, значит, все-таки воплощает, так как плоть, естественно, является естественным началом — естественно естественным, это тоже недурно! — а природа, в противоположность духу, разуму, бесспорно, зла, можно, основываясь на своих знаниях и опыте, даже рискнуть сказать — мистически зла. Если же придерживаться этой точки зрения, то вполне логично соответствующим образом и обходиться с телом, а именно — подвергать его дисциплинирующим мерам воздействия, которые, тоже с некоторым риском, можно бы назвать мистически злыми.
708. Все дружно рассмеялись, и поскольку гуманист готов был вспылить, Ганс Касторп поспешно рассказал о том, как его самого однажды в детстве высекли: в низших классах гимназии, когда он учился, это наказание частично еще применялось, там всегда стояла наготове лоза, учитель, правда, не решался поднять на него руку, памятуя об общественном положении его родителей, зато один из его одноклассников, эдакий здоровенный верзила, всыпал ему-таки тонким гибким прутом по ягодицам и икрам в одних только чулках, и это

было ужасно, чертовски больно, гнусно, незабываемо, просто-таки мистично, от злости и унижения у него из глаз брызнули слезы, и он самым постыдным образом громко всхлипывал, впрочем, Ганс Касторп читал где-то, что на каторге даже матерые грабители и убийцы, когда их подвергают телесным наказаниям, хнычут, как малые дети.

709. Сеттембрини закрыл лицо руками в сильно потрепанных кожаных перчатках, а Нафта, с невозмутимостью государственного деятеля, пожелал узнать, чем же обуздывать закоренелых преступников, как не плетями и батогами, которые, кстати сказать, совершенно в стиле каторжной тюрьмы и вполне там уместны; гуманная каторжная тюрьма — это ублюдок, эстетический компромисс, и господин Сеттембрини, хоть он и поклонник прекрасного слога, по существу ничего не смыслит в прекрасном. А что касается педагогики, то, со слов Нафты, получалось, что представление о человеческом достоинстве тех, кто ратует за уничтожение телесных наказаний, восходит к либеральному идеализму эпохи буржуазного гуманизма, коренится в просвещенном абсолютизме человеческого «я», который в недалеком будущем отомрет и уступит место уже нарождающимся, менее дряблым общественным идеям, идеям общности и подчинения, принуждения и послушания, при которых без священной жестокости никак не обойтись и которые заставят взглянуть иными глазами на наказание человеческого падла.
710. Отсюда и формула «повиноваться, как падло», съязвил Сеттембрини, и так как Нафта заметил, что, поскольку Господь Бог, карая нас за первородный грех, подверг наше тело стыду и сраму тления, в конце концов не такая уж беда, если это же самое тело когда-нибудь и высекут, — подумаешь какое оскорбление величества! — разговор тут же перекинулся на кремацию.
711. Да и то сказать, что за устарелый архаический способ — погребение в земле, и до чего же он не созвучен условиям нашего времени. Взять хотя бы рост городов! Оттеснение так называемых кладбищ, занимающих огромную площадь, из центра на окраину! Цены на землю! Прозаизм похорон, которого не избежать, когда приходится пользоваться современными видами транспорта! У господина Сеттембрини многое что нашлось сказать прозаически-верного по этому поводу. Он потешался над согбенной горем фигурой вдовца, каждый божий день совершающего паломничество к могиле дорогой усопшей, чтобы там, на месте, беседовать с нею наедине. У такого идиллика должна быть бездна самого драгоценного на свете блага, а именно — свободного времени, не говоря уже о том, что шум и толкучка современного, расположенного в самом центре города кладбища живо отбили бы у него охоту к атавистическому сентиментальничанию. Уничтожение трупа огнем — какая опрятная, гигиеническая, достойная, даже героическая перспектива по сравнению с бесславным саморазложением и ассимиляцией низшими организмами! Да и чувства наши как-то легче мирятся с новым способом, больше отвечающим потребности человека в бессмертии. Ведь огонь поглощает без остатка именно изменчивые, еще при жизни подверженные обмену веществ части тела; те же, что наименее втянуты в общий круговорот и почти без изменения сопутствуют человеку в его зрелые годы, наиболее огнестойки, из них-то и получается пепел, стало быть, с пеплом родные и близкие сохраняют то, что в покойном было действительно непреходящим.
712. Что за варварство! Страх смерти возник в эпоху, когда культура стояла на чрезвычайно низком уровне и насильственная смерть была правилом, и вот то ужасное, что в самом деле присуще такого рода кончине, на долгое время связалось в представлении людей с мыслью о смерти вообще. Но теперь, благодаря развитию здравоохранения и укреплению личной безопасности, естественная смерть все больше становится нормой, и современному трудящемуся мысль о вечном покое, после закономерного истощения его сил, не только не кажется ужасной, но скорее нормальной и даже желанной. Нет, смерть не пугало и не тайна, это простое, разумное, физиологически необходимое явление, которое можно только приветствовать, и размышлять о ней долее положенного — значит обкрадывать жизнь. Потому-то и предполагалось пристроить к образцовому крематорию и прилегающему к нему колумбария, так сказать, к «залу смерти», еще и «зал жизни», где архитектура, живопись, скульптура, музыка и поэзия совокупными усилиями создадут обстановку,

отвлекающую эмоции живых от переживаний смерти, тупой печали и бесплодных сетований к радостям жизни...

713. Господин Сеттембрини — прекраснодушный эстет и, очевидно, мало знаком с историей средневекового судопроизводства. Оно шло на все большие и большие уступки рационализму, так что постепенно, в угоду доводам рассудка, Бога окончательно вытеснили из юриспруденции. От суда Божьего пришлось отказаться, ибо было замечено, что побеждает сильнейший, хотя бы даже он был и не прав. Люди, подобные господину Сеттембрини, малoverы, критиканы обратили на это внимание и добились того, что место старого, наивного судопроизводства заняла инквизиция, не полагавшаяся более на Божье вмешательство в пользу правого и стремившаяся достичь признания истины от обвиняемого. Ни одного осуждения без собственного признания — достаточно прислушаться к тому, что еще сегодня говорят в народе: это инстинктивное убеждение очень крепко засело в головах людей, и как бы ни была последовательна цепь доказательств, без признания обвинительный приговор все же покажется всем незаконным. Как же его добиться? Как помимо одних только улики, одних только подозрений открыть правду? Как заглянуть в сердце, в мозг человека, который эту правду утаивает и все отрицает? Если дух упорствует, то не остается ничего другого, как обратиться к телу — уж оно-то в нашей власти! Применение пытки, как средства добиться нужного до зарезу признания, диктовалось разумом. Но если уж говорить о том, кто требовал и ввел категорию признания в судопроизводство, то сделал это не кто иной, как господин Сеттембрини, а стало быть, он и есть инициатор пыток.
714. Все эти процессуальные ужасы уже потому только нельзя приписать разуму, что в основе их лежала вера в существование ада. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в музеи и застенки: дыба, крючья, огонь, клещи, — все это, совершенно очевидно, плод фантазии людей, в детском ослеплении своем набожно стремившихся воспроизвести вечные муки, которые ждут грешников на том свете. Более того, ведь преступнику искренне желали помочь. Полагали, что бедная его душа жаждет признания и только плоть в качестве злого начала противится благому порыву. Поэтому считали, что, сокрушая плоть, преступнику оказывают истинную услугу. Аскетическое безумие... — А древние римляне тоже ему были подвержены? — Римляне? *Ma che!*[195] — Но ведь и они применяли пытку, как средство дознания. Общее замешательство. Логика пасовала...
715. Ганс Касторп попытался вывести всех из тупика, самочинно выдвинув проблему смертной казни, словно подобная тема была ему по плечу. Пытки, правда, отменили, но у следователя имелось достаточно средств допечь обвиняемого с тем, чтобы он стал более сговорчив. А вот смертная казнь, по-видимому, бессмертна, без нее не обойтись. Даже самые цивилизованные нации крепко за нее держатся. Французы ничего хорошего не добились, ссылая преступников в колонии. Просто никто толком не знает, как практически поступить с некоторыми человекоподобными особями, разве только укоротить их на голову.
716. Это вовсе не «человекоподобные», поправил его господин Сеттембрини, а такие же люди, как уважаемый инженер и он сам, только слабовольные и павшие жертвой несовершенного общественного строя. И он рассказал о крупном преступнике, матером убийце, том самом типе «кровожадного зверя» и «скота в человеческом образе», как любят выражаться в обвинительных речах прокуроры, — этот человек исписал стены своей камеры стихами. И совсем не плохими стихами, — намного лучше тех виршей, которые подчас слагают сами столпы правосудия. — Это несколько неожиданным образом освещает природу искусства, — заметил Нафта. В остальном же он не видит тут ничего особенного.
717. Ганс Касторп ожидал, что господин Нафта выскажется за сохранение смертной казни. Нафта, считал он, вероятно, не менее революционен, чем господин Сеттембрини, но в охранительном смысле, революционер-охранитель.
718. Вслед за тем «ищущей светоча» молодежи дано было лице зреть, как Нафта расправляется со всеми его доводами, так что только пух и перья летят. Иезуит потешался над кровобоязнью друга человечества и его жизнепочитанием, утверждал, что такое

низкопоклонничество перед жизнью отдельного человека свойственно лишь пошлейшим эпохам «буржуа с зонтиком», но когда страсти разгораются, когда в игру вступает идея, возвышающаяся над «идеей безопасности», стало быть нечто, стоящее выше личного, выше индивидуального, а такое положение по существу нормально, ибо лишь оно достойно человека — отдельной жизнью всегда бесцеремонно жертвовали ради высшей идеи, более того, — сам индивид добровольно и не колеблясь возлагал ее на алтарь. Филантропия его уважаемого противника, сказал он, хочет устранить из жизни все ее тяжелые и трагические моменты, иными словами — выхолостить жизнь, как то и старается сделать детерминизм его псевдонауки. Но дело в том, что детерминизм не только не упраздняет понятие «вины», напротив, он-то и отягощает ее, делает еще ужасней.

719. Превосходно, но уж не требует ли он, чтобы злосчастная жертва общества всерьез осознала себя виновной и сама, по убеждению, взойшла на эшафот. Без сомнения. Преступник весь преисполнен своей виной, как преисполнен собственной личностью. Ибо он таков, каков есть, и не может, да и не хочет быть иным, и в этом-то и заключается его вина. Господин Нафта переносил понятие «вины» и заслуги из эмпирической области в метафизическую.
720. Человек таков, каким он пожелал быть и не перестанет желать до скончания своих дней. Убивать — его страсть, она человеку буквально «дороже жизни», и, следовательно, расплачиваясь за эту страсть своей жизнью, он платит не слишком дорого. Ему можно теперь умереть, ибо он удовлетворил свою глубочайшую страсть. — Глубочайшую страсть? — Да, глубочайшую.
721. Все поджали губы. Ганс Касторп кашлянул. Везаль скривил рот. Господин Ферге вздохнул. Сеттембрини тонко заметил: — По-видимому, существует такая манера обобщать, которая даже самым отвлеченным рассуждениям придает субъективную окраску. У вас есть страсть к убийству? — Это вас не касается. Но если бы я убил, то рассмеялся бы в лицо тому невежественному гуманисту, который захотел бы держать меня до моей естественной кончины на тюремной похлебке. Нет никакого смысла в том, чтобы убийца пережил убитого. С глазу на глаз, схоронившись от всех, один претерпевая, другой действуя, как это бывает с двумя человеческими существами лишь в одном еще сходном случае, они приобщились к тайне, которая навек их связала. Они слиты воедино.
722. Сеттембрини холодно признал, что у него, по-видимому, отсутствует орган чувств, способный воспринимать столь смертоубийственную мистику, и он нисколько о том не сожалеет. Он не хочет сказать ничего худого о метафизических дарованиях господина Нафты — они, несомненно, превышают его собственные, однако отнюдь не вызывают его зависти. Непреодолимая брезгливость держит его вдали от сферы, где то самое преклонение перед страданием, о котором перед тем упоминала экспериментирующая молодежь, царит не единственно в отношении тела, но и духа, — короче говоря, той сферы, где ни во что не ставится добродетель, разум, здоровье и зато бог весть как превозносятся пороки и патология.
723. Нафта подтвердил, что добродетель и здоровье действительно ничего общего не имеют с религиозностью. Будет только хорошо, сказал он, если мы сразу оговорим, что религия не имеет никакого отношения ни к разуму, ни к нравственности. Ибо, добавил он, она не имеет никакого отношения к жизни. Жизнь определяется условиями и основами, отчасти связанными с теорией познания, отчасти с областью морали. Первые именуются временем, пространством, причинностью, вторые — нравственностью и разумом. Все это не только в корне чуждо и безразлично сущности религии, но и прямо ей враждебно, ибо они-то и составляют жизнь, так называемое здоровье, то есть: архифилистерство и сверхбуржуазность, абсолютной, притом абсолютно гениальной противоположностью которым и следует признать религиозный мир. Впрочем, он, Нафта, не собирается всецело отрицать возможность гениальности в сфере жизни. Существует такой вид жизнеутверждающей буржуазности, монументальное достоинство которой неоспоримо, филистерское величие, коему нельзя не воздать должного, если почтить его, это широко расставившее ноги — руки за спину, грудь вперед — буржуазное самодовольство за воплощенное безверие.

724. В толковании Касторпа, сказал Нафта, взаимосвязь понятий, как они представляются господину Сеттембрини, искажена. Основное в миропонимании его оппонента то, что он превращает Бога и дьявола в два обособленные существа или принципа, а «жизнь», кстати говоря, точь-в-точь по средневековому образцу, помещает между ними как объект спора. В действительности же оба они в совокупности противостоят жизни, «жизнеутверждающей буржуазности», этике, разуму, добродетели, — противостоят как религиозный принцип, который они сообщают и представляют.
725. Чтобы им быть, надо все же представлять себе различие между нравственностью и благодатью, чего, безусловно, нельзя сказать про нашего уважаемого мониста и иллюмината. Там, где жизнь весьма тупоумно представляется самоцелью и не задают себе вопроса о высшем ее смысле и цели, там господствует родовая и социальная этика, мораль позвоночных, а не индивидуализм, которому открывается простор лишь в сфере религиозной и мистической, в так называемой «нравственно неупорядоченной Вселенной». А что представляет и на что может претендовать столь ценимая господином Сеттембрини нравственность? Она по рукам и по ногам связана жизнью, — стало быть, чисто утилитарна, стало быть, на редкость убога и негероична, достойна сожаления. Она учит, как дожить до глубокой старости счастливым, богатым и здоровым и ничего больше. Вот это-то рассудочное и сугубо практическое филистерство заменяет ему этику. Что касается Нафты, то он позволит себе еще раз назвать ее жалкой жизнеутверждающей буржуазностью.
726. Господин Сеттембрини выразил твердую надежду, что Ганс Касторп говорит все это лишь затем, чтобы ему возражали. Молодой человек может быть уверен, что ему всегда с радостью будет оказана всяческая помощь в его духовной борьбе с подобными заскоками.
727. «Жизнедостоины» — и сразу же по простейшей и закономернейшей аналогии напрашивается понятие «любвидостойны», самым тесным образом связанное с первым, так что мы вправе сказать, что лишь истинно достойное жизни одновременно и истинно достойно любви. А оба вместе, то есть достойное жизни и, стало быть, любви, составляют то, что мы именуем благородством.
728. Болезнь в высшей степени человечна, не замедлил возразить Нафта; ибо быть человеком значит быть больным. Человеку присуща болезнь, она-то и делает его человеком, а тот, кто хочет его оздоровить, заставить его пойти на мировую с природой, «вернуть к естественному состоянию» (в котором, кстати, он никогда не пребывал), все эти подвизающиеся ныне обновители, апостолы сырой пищи, проповедники воздушных и солнечных ванн, всякого рода руссоисты, добиваются лишь его обезчеловечивания и превращения в скота... Человечность? Благородство? Дух — вот что отличает от всей прочей органической жизни человека, это в большой степени оторвавшееся от природы, в большой степени противопоставляющее себя ей живое существо. Стало быть, в духе, в болезни заложено достоинство человека и его благородство; иными словами: в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек; гений болезни неизмеримо человечнее гения здоровья.
729. Господин Сеттембрини на все лады склоняет слово прогресс. Но разве прогресс, если он в самом деле существует, не обязан всем болезни, то есть гению, — а что такое гений, как не болезнь! И разве здоровые во все времена и эпохи не жили открытиями, добытыми болезнью! Были люди, которые сознательно и намеренно обрекали себя на болезнь и безумие, чтобы добыть людям знания, служившие здоровью, после того как были обретенны безумием, и обладание и пользование которыми после подобного акта героического самопожертвования уже не предопределялось болезнью и безумием. Это и есть истинная Голгофа.
730. — И он как рыцарь ринулся в бой на защиту благородства здоровья и жизни, которые дарует природа и которым незачем тревожиться о духе. «Форма!» — говорил он, а Нафта высокопарно отвечал: «Логос!» Но тот, который знать ничего не хотел о логосе, возглашал: «Разум!» — тогда как поборник логоса ратовал за «страсть». Это сбивало с толку. «Объект!» — кричал один. «Субъект!» — восклицал другой.

731. Но никакой стройной и ясной концепции не получалось, пусть даже не одной, а двух противоположных и враждующих; ибо все говорилось не только в пику противнику, но и невпопад, и оппоненты не только противоречили друг другу, но и самим себе.
732. каким образом Нафта, собственно говоря, пришел к такой кровавой необходимости, раз он, по его собственным словам, не верил ни в какое чистое познание и беспристрастное исследование, — словом, не верил в истину, объективную научную истину, стремление к которой было для Лодовико Сеттембрини высшим законом человеческой нравственности?
733. Тут было, несомненно, больше ортодоксального благочестия, нежели свободомыслия, это опять-таки различие, которое в подобного рода спорах легко может быть утрачено совсем.
734. Ах, принципы и взгляды то и дело переплетались, внутренних противоречий было хоть пруд пруди, и настолько трудным представлялось осознавшему свою ответственность штатскому не только выбрать из них что-нибудь одно, но даже просто их рассортировать и, как препараты в гербарии, держать в порядке и чистоте, что подчас возникало большое искушение — броситься вниз головой в «нравственно неупорядоченную Вселенную» Нафты. Все смешалось и переплелось, и Ганс Касторп втайне подозревал, что спорщики, вероятно, не полемизировали бы с таким ожесточением, если бы их не угнетало сознание сей великой путаницы.
735. Наконец они расстались. Сколько ни стой, а ни до чего не договоришься.
736. Так, например, был приобретен новый аппарат «горного солнца», ибо двух уже имевшихся не хватало для удовлетворения спроса на «электрический загар», очень красивший молодых девушек и женщин, а мужчинам, несмотря на то что они вели горизонтальный образ жизни, придававший горделивый и спортивно-победоносный вид. Этот вид так или иначе приносил свои плоды; женщины, ясно отдавая себе отчет в его технико-косметическом происхождении, были либо достаточно глупы и всеядны, либо очень уж падки на обман чувств, но эта иллюзорная мужественность их обольщала и пьянила.
737. День за днем тихо ложился он при десяти-, пятнадцатиградусном морозе, не пробиравшем до костей, почти нечувствительном, казалось даже, не превышавшем двух-трех градусов, ибо сухой воздух и безветрие лишали его колючести.
738. Мир тогда становился сказочным и детски-смешным. Пышные, пухлые, взбитые подушки на ветвях деревьев, снежные холмы на земле, под которыми притаился ползучий кустарник или ребристый камень, бугры и впадины, маскарадная таинственность ландшафта — все походило на царство гномов, трогательно смешное и точно выскочившее из книги сказок.
739. То был сон без сновидений, не затронутый бессознательным чувством органического бремени жизни, ибо вдыхать пустой, без испарений, воздух организму было не труднее, чем мертвецу быть бездыханным.
740. Ганс Касторп был по горло сыт этими прогулками. Им владели два желания: первое и сильнейшее — оставаться наедине со своими мыслями и делами, словом, «править», а оно не в полной мере удовлетворялось лежанием на балконе, и второе, связанное с первым и состоявшее в живом стремлении ближе, непосредственнее соприкоснуться с заснеженными горами, которые так ему полюбились.
741. Он не был спортсменом в силу своей физической организации, к спорту никогда не тянулся и даже не притворялся любителем такового — не в пример многим обитателям «Берггофа», в угоду местному духу и моде глупейшим образом рядившихся спортсменами.
742. Конечно, его желания и намерения были противоречивы и неосуществимы. Но его надо было понять.
743. Он, безусловно, чувствовал себя причастным к другому, более чопорному сообществу, нежели этот беспечный туристский народец, и со своей новой, более широкой точки зрения, основанной на отчуждающем чувстве собственного достоинства и долга, полагал, что ему не пристало резвиться здесь и, наподобие этих дураков, валяться в снегу.
744. Торопитесь, покуда не прошла охота.
745. Ганс Касторп убедился, что сноровка, в которой испытываешь внутреннюю потребность, приобретает довольно быстро.

746. Благодаря им на него дохнуло желанным одиночеством, таким глубоким, что глубже и быть не может, одиночеством, полнившим сердце ощущением чего-то начисто чуждого человеку и его отрицающего.
747. Дитя цивилизации, с рождения далекое и чуждое дикой стихии, куда острее воспринимает ее величие, нежели угрюмый сын природы, с младых ногтей с нею связанный, привыкший к ее будничной близости.
748. и эта симпатия объединялась с новым для него чувством собственного достоинства, которое он осознал при виде господ и дам, катающихся на салазках, и благодаря которому понял, что подобающим и необходимым для него является одиночество более глубокое, более значительное, чем то гостинично комфортабельное одиночество, которым он баловался на своем балконе.
749. Коллоквиум с Нафтой и Сеттембрини тоже не способствовал благодушному настроению, уводя в бездорожье, в величайшие опасности.
750. Ты, конечно, ветрогон, шарманщик, но намерения у тебя хорошие, куда лучше, чем у маленького злючки — иезуита и террориста, да и люблю я тебя больше, чем этого испанского заплечных дел мастера с его блестящими очками, хотя правда почти всегда на его стороне, когда вы ссоритесь, педагогически единоборствуя за мою бедную душу, как Бог и черт в средние века единоборствовали за человека...»
751. Ганс Касторп подымался в мглистое ничто, и так как мир позади него — населенная людьми долина — тоже вскоре скрылся из глаз и ни один звук оттуда уже до него не доносился, то глубина его одиночества, более того — потерянности, прежде чем он успел об этом подумать, превзошла его мечтания; это было одиночество глубокое до ужаса — непереносимой предпосылки отваги.
752. а вокруг неистово молчала тишина.
753. и вдруг его охватило умиление, немудреная, благоговейная симпатия к своему сердцу, к бьющемуся человеческому сердцу, такому одинокому здесь, среди ледяной пустоты, со своим вопросом, со своей загадкой.
754. Справа поодаль из тумана выступил лес. Он двинулся к нему, чтобы иметь перед глазами земную цель вместо белесой трансцендентности, и вдруг, ослепленный белизной, скатился вниз, не успев заметить перед собой откоса, не разобрав рельефа местности.
755. Здесь наличествовала беспредельная изобретательность, нескончаемое рвение видоизменять, скрупулезно разрабатывать одну и ту же основную схему — равносторонний и равноугольный шестиугольник. Но каждое из этих студеной творений было в себе безусловно пропорционально, холодно симметрично, и в этом-то и заключалось нечто зловещее, антиорганическое, враждебное жизни; слишком они были симметричны, такую не могла быть предназначенная для жизни субстанция, ибо жизнь содрогается перед лицом этой точности, этой абсолютной правильности, воспринимает ее как смертоносное начало, как тайну самой смерти. И Гансу Касторпу показалось, что он понял, отчего древние зодчие, воздвигая храмы, сознательно, хотя и втихомолку, нарушали симметрию в распорядке колонн.
756. давно уже грозившая снежная буря, если можно говорить об «угрозе» применительно к слепым и неведающим стихиям, которые отнюдь не тешат себя намерением нас уничтожить, это бы еще куда ни шло, но которым до ужаса безразлично, если это и случится ненароком.
757. Лишь изредка проступали из мглы призраки мира явлений: торчащий куст, сбившиеся в кучку сосны или едва очерченный абрис стога, мимо которого он недавно пробегал.
758. Однако утверждение, что это плохо с точки зрения необходимости выбраться отсюда, было лишь утверждением контролирующего разума, словно бы стороннего, непричастного, хотя в известной мере и заинтересованного лица.
759. Ганс Касторп отнесся к этому извечному феномену с некоторым удовлетворением, хотя и со страхом; он даже хлопнул себя по ляжке от гнева и удивления, что всеобщее так точно повторилось в его особом, индивидуальном случае.

760. Перед ним возникла металлическая дверь, открытая во внутренность храма, и у бедняги подогнулись колени от ужаса перед тем, что он увидел. Две седые старухи, полуголые, косматые, с отвислыми грудями и сосками длиною в палец, мерзостно возились среди пылающих жаровен. Над большой чашей они разрывали младенца, в неистовой тишине разрывали его руками, — Ганс Касторп видел белокурые тонкие волосы, измазанные кровью, — и пожирала куски, так что ломкие косточки хрустели у них на зубах и кровь стекала с иссохших губ. Ганс Касторп оледенел. Хотел закрыть глаза руками — и не мог. Хотел бежать — и... не мог. За гнусной, страшной своей работой они заметили его и стали потрясать окровавленными кулаками, ругаться безгласно, но грязно и бесстыдно, да еще на простонародном наречии родины Ганса Касторпа. Ему стало тошно, дурно, как никогда. В отчаянии он рванулся с места и, скользнув спиной по колонне, упал наземь — омерзительный гнусный шепот все еще стоял у него в ушах, ледяной ужас по-прежнему сковывал его — и... очнулся у своего сарая, лежа боком на снегу, головой прислонившись к стене, с лыжами на ногах.
761. Откуда они у меня взялись — этот прекрасный залив с островами, а потом пропилеи и храм, на который указали мне глаза того милого отрока, что сидел в стороне? Грезы-то ведь зарождаются не в одной твоей душе, сказал бы я, гредишь безымянно и коллективно, хотя и на свой собственный лад. Великая душа, частицей которой ты являешься, грезит — через тебя и по-твоему — о вещах, которые извечно грезятся ей: о своей юности, своей надежде, своем счастье, о мире и... о своем кровавом пиршестве.
762. Ибо интерес к смерти и болезни не что иное, как своеобразное выражение интереса к жизни, как то доказывает гуманистическая наука — медицина, которая всегда так учтиво, по-латыни, обращается к смерти и болезни, сама будучи лишь тенью того великого, важнейшего, что я от полноты сердца назову настоящим его именем: это трудное дитя жизни, это человек и его назначение в мире, его царство...
763. Или солнечные люди потому так учтивы и внимательны друг с другом, что втайне знают о совершающемся ужасе? В таком случае они сделали из этого весьма утонченные и галантные выводы! Я заодно с ними, а не с Нафтой, но и не с Сеттембрини — оба болтуны. Один злой сладострастник, а другой только и знает, что дудеть в дудку разума, и воображает, будто действует оздоравлиюще даже на сумасшедших, что уже просто пошлость.
764. Но и на сторону недомерка Нафты я тоже не стану, с его религией — сплошной *guazzabuglio*[204] Бога и дьявола, добра и зла, пригодной лишь на то, чтобы отдельный человек очертя голову бросался в нее, с целью мистически раствориться во всеобщем.
765. Деизм в смерть неотделимо от жизни, без него жизни бы не было, а стоять посерединке, посерединке между деизмом и разумом, — назначение *Nomo Dei*. Ведь и царство его — посерединке между мистическим единением и ветреным индивидуализмом.
766. Смерть — великая сила. Перед ней снимают шляпу, склонив голову, стараются ступать неслышно. Она носит почтенные брыжи прошлого, и мы в ее честь одеваемся строго, во все черное. Разум глуп перед нею, он ведь не более как добродетель, она же — свобода, деизм, бесформенность и похоть. Похоть, говорит мой сон, не любовь. Любовь и смерть, не стоит сочетать эти понятия, получится безвкусица и пошлость. Любовь противостоит смерти, только она, а не разум, сильнее ее. Только она, а не разум, внушает нам добрые мысли. И форма состоит единственно из любви и доброты: форма и обычай разумно-дружеского общения, прекрасное человеческое царство — с молчаливой оглядкой на кровавое пиршество.
767. Во имя любви и добра человек не должен позволять смерти господствовать над его мыслями.
768. Похоже, что жизнь дружелюбно обошлась с трудным своим дитятей...
769. Привидевшийся ему сон понемногу тускнел. Мысли, бродившие у него в голове, уже в этот вечер стали ему не совсем понятны.

770. Продолжение носило все тот же жизнерадостный характер; открытки, сообщавшие о различных этапах удачливого служебного пути, очень гладкого из-за страстной любви к делу и благоволения начальства, обычно заканчивались приветами и поклонами.
771. В кратких его донесениях сквозило восторженное преклонение перед духом иерархии, которому он теперь подчинялся, суровой в вопросах чести, идеально пригнанной и вместе с тем юмористически-сдержанно снисходящей к человеческим слабостям.
772. В начале июня он уже был в строю, но в середине месяца снова «расклеился» и горько сетовал на «невезенье», между строк читался страх не выздороветь к началу больших маневров в августе, которым он заранее радовался всем сердцем.
773. Д-да, есть в этом изрядная доля низости, издевательской низости, — факт прямо-таки противоидеалистический. Торжество тела, оно хочет не того, что душа, в посрамление возвышенных умов, которые учат нас, что тело в подчинении у души. Похоже, они не ведают, что говорят; окажись они правы, это бросило бы на душу весьма сомнительный свет, по крайней мере в данном случае. Sapienti sat[205], я знаю, в чем тут суть. Ибо вопрос, который я выдвигаю, как раз и сводится к тому, насколько ошибочно противопоставлять душу и тело, ежели они одного поля ягоды и играют друг другу в руку, — возвышенные умы, на свое счастье, об этом не думают.
774. Я не могу его выгнать, дирекция меня со свету сживет.
775. затынутым в мундир
776. Это, конечно, не входило в намерения фрау Цимсен. Она ведь только стремилась внести в разговор благопристойную сдержанность, не ведая, что среднее и умеренное чуждо этим высям, что выбор здесь существует лишь между крайностями.
777. — Это Восток и болезнь, — отвечал Ганс Касторп. — Тут с меркой гуманистической культуры подходить не стоит, ничего не получится.
778. Итак, значит, мадам Шоша собирается в Испанию. Гм! Испания также удалена от гуманистической середины, — только в сторону жестокости, а не мягкости; это не бесформенность, не сверхформа, я бы сказал: смерть как форма — не растворение в смерти, а суровый уход в нее, смертная суровость, черная, аристократическая и кровавая, инквизиция, накрахмаленные брыжи, Лойола, Эскуриал... Интересно, понравится ли мадам Шоша Испания. Хлопать дверьми она там отучится, и, может быть, там даже сольются в человечности оба антигуманистических лагеря. Но может, конечно, из этого получиться и нечто злостно террористическое, коль скоро Восток направился в Испанию...
779. Фрау Цимсен, дама разумная, рассудительная, характера отнюдь не сангвинического
780. Ибо Иоахим старался твердо и неуклонно помнить, что в октябре кончается его «небольшой дополнительный курс», хотя некоторые точки его центральной нервной системы не желали придерживаться гуманистических норм поведения и препятствовали компенсирующей отдаче тепла его кожей.
781. Они опять стали навеваться к Сеттембрини и Нафте, а также совершать прогулки с обоими этими братьями по вражде. Случалось, и нередко, что к ним присоединялись А. К. Ферге и Фердинанд Везаль, тогда их бывало шестеро, и духовные дуэлянты перед многочисленной публикой вели нескончаемые поединки, исчерпывающе излагать которые мы не можем без риска безнадежно растечься, как это ежедневно бывало с ними, хотя Ганс Касторп и полагал, что его бедная душа являлась главным объектом их диалектического единоборства.
782. От Нафты он узнал, что Сеттембрини масон, и это произвело на него не меньшее впечатление, чем в свое время рассказ итальянца о принадлежности Нафты к иезуитам и попечении ордена о его благоденствии. Воображение Ганса Касторпа было потрясено открытием, что подобное еще существует, и он засыпал террориста вопросами относительно возникновения и сущности этой любопытнейшей организации, которой через несколько лет предстояло справить свой двухсотлетний юбилей. Если Сеттембрини за спиной Нафты говорил о его духовной сущности в тоне патетических предостережений, как о чем-то диaboлическом, то Нафта за его спиной откровенно потешался над сферой интересов, которые представлял Сеттембрини, давая понять, что это нечто весьма

- старомодное и отсталое: буржуазное просвещение, позавчерашнее свободомыслие, выродившееся в жалкое фиглярство, но в дурацком самообольщении воображающее себя исполненным революционного духа. Он говорил: «Что вы хотите, его дед был карбонарий, иными словами — угольщик». От него он унаследовал веру угольщика в разум, в свободу, прогресс, всю эту изъеденную молью классически-буржуазную идеологию добродетели...
783. Человека, видите ли, всегда повергает в смущение несоответствие между стремительным полетом духа и чудовищной неповоротливостью, медлительностью, косной инертностью материи. Не приходится удивляться, что это несоответствие убивает всякий интерес духа к действительности; как правило, ферменты, вызывающие революции действительности, духу уже успели осточертеть. И мертвый дух, право же, сильнее контрастирует с живым, чем, скажем, базальт, по крайней мере не претендующий на то, чтобы быть духом и жизнью. Эти базальты, остатки былой действительности, которые дух опередил в такой мере, что уже отказывается связывать с ними какое бы то ни было понятие действительности, продолжают косно сохраняться и в силу своей неуклюжей мертвой сохранности не позволяют пошлости осознать свою пошлость. Я говорю обобщенно, но вы сумеете практически применить мои слова к гуманитарному свободомыслию, воображающему, что оно все еще находится в героической оппозиции к власти и государству. А тут еще катастрофы, посредством которых оно надеется доказать свою жизнеспособность, запоздалые и помпезные триумфы, им подготовляемые — в надежде, что в один прекрасный день оно торжественно их отпразднует! От одной мысли об этом смертная тоска могла бы охватить живой дух, не знай он, что из таких катастроф только он один выйдет обогащенным победителем и что только в нем элементы старого соединятся с элементами грядущего, образуя истинную революционность...
784. Итак, значит, он член масонской ложи? Скажите на милость! Теперь вся его личность предстает мне в каком-то новом свете, многое проясняющем. Неужто и он ставит ступни под прямым углом и вкладывает особый смысл в свое рукопожатие? Я ничего подобного за ним не замечал...
785. — Такое ребячество наш добрый каменщик, конечно, перерос. Я думаю, что обрядовая сторона масонства ныне самым жалким образом приспособлена к трезво-буржуазному духу времени. Прежний ритуал они сами бы сейчас восприняли как непросвещенный фокус-покус и устыдились бы его — не без основания, так как рядить атеистическое республиканство в мистику — по меньшей мере безвкусица. Я не знаю, с помощью каких ужасов испытывали стойкость господина Сеттембрини, — может быть, его водили с завязанными глазами по бесконечным переходам и заставляли дожидаться в «Черной храмине», прежде чем перед ним распахнется сияющий огнями зал ложи, может быть, поставив его перед черепом и трехсвечником, ему торжественно задавали ритуальные вопросы, направляя острия мечей в его обнаженную грудь. Спросите сами, хотя, боюсь, он будет не особенно разговорчив, так как, если вся церемония приема и протекала гораздо прозаичнее, обет молчания он тем не менее дал.
786. В масонстве, видно, есть что-то военно-иезуитское.
787. Идея этого союза коренным образом связана с идеей безусловного. А следовательно, она террористична, то есть антилиберальна. Она снимает бремя с совести отдельного человека и во имя абсолютной цели освящает любое средство, даже кровавое, даже преступление. Существует версия, что и в масонских ложах братский союз некогда символически скреплялся кровью. Союз не есть нечто созерцательное, он всегда по самой своей сути является абсолютно организующим началом. Известно ли вам, что основатель ордена иллюминатов, одно время почти что слившегося с масонством, некогда был членом ордена Иисуса?
788. — Адам Вейсгаупт организовал свой гуманитарный тайный союз по точному подобию иезуитского ордена. Сам он был вольным каменщиком, а виднейшие члены ложи — иллюминатами. Я говорю о второй половине восемнадцатого столетия, которую Сеттембрини не преминет назвать вам ущербной эпохой масонства. На самом же деле то была пора наибольшего расцвета всех тайных обществ, пора, когда масонство

действительно поднялось на значительную высоту, с которой его позднее низвели люди типа нашего человеколюбца; в ту пору он, несомненно, был бы в числе тех, кто обвинял масонство в иезуитстве и обскурантизме.

789. Далее, в ту пору в ложе проникло розенкрейцерство — весьма примечательное братство, которое, надо вам знать, чисто рационалистические политико-общественные цели исправления и облагораживания человечества сочетало с весьма своеобразным отношением к тайным наукам Востока, к индийской и арабской мудрости и магическому познанию природы. Тогда же была проведена реформа и реорганизация масонских лож в смысле «строгого наблюдения» — в явно иррациональном, таинственном, магическо-алхимическом смысле; кстати сказать, ему обязаны своим существованием высокие степени шотландского братства вольных каменщиков — орденско-рыцарские степени, которыми была пополнена старая, создававшаяся по образцу военной, иерархическая лестница: ученик, подмастерье, мастер, а также гроссмейстерские степени, восходящие к жречеству и насыщенные «тайным знанием» розенкрейцеров. Это был своего рода возврат к духовным рыцарским орденам средневековья, прежде всего к ордену храмовников, которые, как вы знаете, произносили перед иерусалимским патриархом обет бедности, целомудрия и послушания. Одна из высших степеней масонской иерархии и поныне носит название «Великий князь Иерусалимский».
790. — О, существует еще множество торжественных титулов для высших иерархических степеней «строгого наблюдения». Совершенный мастер, например, Рыцарь Востока, Великий Первосвященник, а тридцать первая степень даже именуется «Высокий блюститель царственной тайны». Вы замечаете, что все эти титулы свидетельствуют о связи с восточной мистикой. Самое возрождение храмовников означало не что иное, как подтверждение этой связи, фактически же вторжение иррационального бродильного материала в мир разумно-полезных идей совершенствования человечества. Это сообщило масонству новое обаяние и новый блеск и значительно расширило его ряды. Вольными каменщиками становились все, кому наскучило умствование той эпохи, ее гуманистическое просветительство и пресное здравомыслие, все, кто жаждал отведать более крепких напитков жизни. Успех ордена был огромен, и филистеры сетовали на то, что он отчуждает мужчин от семейного счастья и умаляет достоинство женщин.
791. — Сейчас вам скажу! «Строгое наблюдение» было равнозначно углублению и расширению традиций ордена, обращению вспять к его историческим истокам, к миру таинств, к так называемому мраку средневековья. Гроссмейстеры лож были посвящены в *physica mystica*[209], являлись носителями магических познаний о природе, а главное — великими алхимиками...
792. — Я сейчас напрягаю все силы, чтобы осмыслить, чем, собственно, в общем и целом была алхимия. Алхимия — это ведь попытка изготовить золото, поиски философского камня, *aurum potabile*[210].
793. — Да, говоря популярно. Говоря же несколько более научно, алхимия — это очищение, облагораживание материи, ее превращение, транссубстанция, но всегда в нечто высшее, а следовательно — повышение; *lapis philosophorum*[211], мужеско-женский продукт серы и ртути, *res bina*[212], двуполовая *prima materia*[213] были не чем иным, не чем меньшим, как принципом повышения, насильственного выращивания посредством внешних воздействий, магической педагогией, если хотите.
794. — Символом алхимической трансмутации, — продолжал Нафта, — прежде всего была гробница. — Могила? — Да, место тления. Оно — воплощение всей герметики, сосуд, заботливо сохраненная кристаллическая реторта, в которой материю вынуждают претерпевать свое последнее превращение и очищение.
795. — ... А в отношении лож — культ могилы и гроба, на что я уже обращал ваше внимание. В обоих случаях речь идет о последнем и крайнем, об элементах оргиастической прарелигиозности, о распутных ночных жертвоприношениях в честь умирания и становления, смерти, пресуществления и воскресения. Вы, вероятно, помните, что и мистерии Изиды и Элевсинские мистерии совершались ночью, в мрачных пещерах. Так вот, в масонстве жило

и живет очень многое, взятое из культов Древнего Египта, а среди тайных обществ иные называли себя элевсинскими союзами. Там происходили празднества лож, празднества элевсинских мистерий и афродисий, в которых наконец участвует женщина, а именно — в празднестве роз; намеком на них являются три голубые розетки на масонском запоне: эти празднества обычно принимали вакхический характер...

796. — Это было бы по отношению к нему жестокой несправедливостью. Нет, обо всем этом Сеттембрини, конечно, уже ничего не знает. Я ведь говорил вам, что такие люди, как он, лишили масонство всех элементов более высокой духовной жизни. Конечно же, оно гуманизировалось, модернизировалось! Оно выбралось из всей этой путаницы и вернулось к идеям полезности, разума и прогресса, к борьбе против попов и государей, — словом, к построению общественного благополучия; на собраниях лож опять рассуждают о природе, добродетели, умеренности и отечестве. Допускаю, что даже о коммерции. Короче говоря, это — воплощение буржуазного убожества, это — клубы...
797. — Да, доблестный рыцарь наугольника! — насмешливо отозвался Нафта. — Вы должны учесть, что этому рыцарю было вовсе нелегко получить доступ к месту, где возводится храм человечества, ведь он беден как церковная мышь, а там требуется не только высшее образование, простите — гуманистическое образование, нужно, кроме того, принадлежать к состоятельным классам, иначе не осилить вступительные и ежегодные членские взносы. Образование и собственность — вот что такое буржуа. Вот непоколебимые основы либеральной всемирной республики!
798. Пошлость далека от невинности. И ограниченность может быть вовсе не безобидной.
799. Эти люди влили немало воды в то вино, которое когда-то было огненным, но сама идея всемирного масонского союза достаточно живуча и может выдержать немало воды: он хранит в себе остатки плодотворной тайны, и совершенно ясно, что масонские ложи влияют на мировую политику; не приходится сомневаться и в том, что в нашем любезном господине Сеттембрини следует видеть не только его самого, но и стоящие за ним силы, приверженцем и эмиссаром которых он является...
800. — Эмиссаром? — Ну да, вербовщиком прозелитов, ловцом человеческих душ.
801. Он оказался также весьма осведомленным относительно ряда славных имен, чьи носители были в прошлом или являются ныне масонами, назвал Вольтера, Лафайета и Наполеона, Франклина и Вашингтона, Мадзини и Гарибальди, а из живых — короля Англии и еще множество лиц, державших в руках судьбы европейских государств, имена членов правительств и парламентов.
802. Ганс Касторп выразил свое уважение, но не удивился. То же самое происходит и в студенческих корпорациях, заметил он. Их члены сохраняют связь на всю жизнь, хорошо умеют устраивать своих, так что человеку, который не был корпорантом, едва ли удастся высоко подняться по лестнице служебной иерархии. По этому, может быть, не следует господину Сеттембрини подчеркивать участие таких знаменитых лиц в масонских ложах как нечто для них особенно лестное: ведь можно предположить и обратное, что замещение столь важных постов членами союза только доказывает его могущество и что масонство, вероятно, играет гораздо более важную роль в мировой политике, чем хочет признать господин Сеттембрини.
803. Друг человечества вообще не может признать разницу между тем, что надо отнести к области политики, а что нет. Все политика. — Решительно все? — Я отлично знаю, что есть люди, которые считают нужным подчеркивать аполитичную природу первоначальных идей масонства. Но эти люди играют словами и проводят границы, которые давно пора объявить мнимыми и бессмысленными. Во-первых, взять хотя бы испанские ложи, — они с самого начала имели политическую окраску...
804. идея масонства никогда не была аполитична, ни в какие эпохи, да и быть не могла, а если и считала себя таковой, то обманывалась относительно своей сущности. Что мы? Строительные и подручные рабочие на постройке здания. Цель у всех одна — высшее благо целого, основной закон братства. Каково же это благо, это здание? Искусно возведенное здание общества, совершенное человечество, новый Иерусалим. При чем же

тут, скажите на милость, политика или аполитичность? Но все дело в том, что сама проблема общества, проблема сосуществования людей — это политика, с начала и до конца политика, и только политика. Тот, кто себя посвящает этой проблеме, — а уклоняющийся от нее недостойн называться человеком, — обречен быть политиком как внутренне, так и внешне, он понимает, что искусство вольного каменщика — это искусство управления... — Управления... — Что у масонов-иллюминатов была степень «правителя»...

805. — Я обещал ответить вам. Вы разумеете некое единство, над созданием которого сейчас люди трудятся, но его еще не существует. Мирового союза масонов не существует. Если он будет создан — а я повторяю, что масоны втайне усердно трудятся над этой великой задачей, — тогда и исповедание веры этого союза станет единым, и оно прозвучит так: «Ecrasez l'infâme»[216]. — Принудительно? Это было бы нетерпимостью. — Ну, до проблемы терпимости вы едва ли выросли, инженер. Но запомните, что терпимость — преступление, когда речь идет о зле. — Разве Бог — зло? — Метафизика — вот что зло. Ибо она только убаюкивает рвение, которое мы должны вкладывать в создание этого нового общества, этого храма. И тут «Великий Восток Франции» еще четверть века назад подал пример, вычеркнув из всех своих документов имя Божие. Мы, итальянцы, последовали их примеру...
806. Только мне в эту минуту показалось, что атеизм — явление в высокой степени католическое и Бога вычеркивают только для того, чтобы стать еще более правоверными верными католиками.
807. В протестантстве таятся элементы... В самой личности вашего реформатора таились элементы... Я имею в виду состояние блаженного покоя и гипнотическое «погружение в себя», они не европейского происхождения, они чужды и враждебны жизненному строю этой столь деятельной части света. Вглядитесь-ка в него, в вашего Лютера! Посмотрите на его портреты — в молодости и в более зрелом возрасте! Какое у него строение черепа, какие скулы, какой странный разрез глаз! Друг мой, это же Азия! Меня бы удивило, меня бы весьма удивило, если бы тут не оказалось какой-то вендо-славяно-сарматской примеси; и если, при отсутствии стойкого равновесия в вашей стране, эта столь грандиозная фигура — кто же станет отрицать ее грандиозность — легла чрезмерным и опасным грузом на одну чашу весов, то восточная перетянула с такой силой, что западную до сих пор тянет в небо.
808. Поэтому благословим же судьбу, забросившую нас в эти ужасные места, ведь я тем самым получил возможность влиять своим не таким уж неумелым и не таким уж вялым словом на вашу восприимчивую молодую душу и дать ей почувствовать всю ту ответственность, которую ваша страна несет перед лицом культуры...
809. — Вы молчите, — взволнованно продолжал Сеттембрини. — Вы и ваша страна предпочитаете хранить загадочное молчание, непроницаемость которого не позволяет проникнуть в его глубины. Вы не любите слова, может быть, вы не владеете им или относитесь к нему неприязненно; мир, пользующийся членораздельной речью, не знает и не может узнать, чего ему ждать от вас. Друг мой, это опасно... Речь — воплощение культуры... Слово, если даже оно противоречиво, связывает... А бессловесность обрекает на одиночество. Нужно надеяться, что вы разрушите ваше одиночество с помощью действий. Вы предоставите вашему кузену Джакомо (так Сеттембрини для удобства называл Иоахима), вы предоставите вашему кузену Джакомо из-за вашего молчания опередить вас действием, и он «двоих мощным ударом сразит, а другие бегут»...
810. — Хорошо, давайте смеяться! — сказал он. — К веселью я всегда готов. «Смех — это сверканье души», сказал древний автор.
811. Он как бы мимоходом показал письма, полученные им от ведущих членов союза за границей, собственноручное послание швейцарского великого мастера, брата тридцать третьей степени Картье ла Танта и рассказал о плане объявить искусственный язык эсперанто языком всемирного союза.
812. Словом, эти впечатления можно изобразить лишь крайне сбивчиво, ибо такова сама их природа.

813. Что касается спора, вернее диспута, происходившего между Нафтой и Сеттембрини, то это было дело особое и не стояло в прямой связи с вышеописанными разъяснениями относительно сущности масонских лож. Кроме двоюродных братьев, при споре присутствовали также Ферге и Везаль; все принимали в нем живое участие, хотя не всем, быть может, эта тема оказалась и по плечу — господину Ферге, например, определенно нет. Но спор, который ведется так, как будто это вопрос жизни, и вместе с тем с таким остроумием и блеском, как будто это отнюдь не вопрос жизни, а всего лишь элегантно состязание умов, — таковы были, впрочем, все диспуты между Сеттембрини и Нафтой, — подобный спор, конечно, интересен сам по себе и для того, кто мало что в нем понимает и лишь смутно догадывается о его значении. Даже сидевшие вокруг посторонние люди удивленно прислушивались, захваченные страстностью и изяществом этого словесного поединка.
814. А чем еще был он замечателен, этот придворный лауреат и блюдолиз рода Юлиев, этот литератор всемирного города и напыщенный красноречивый, безо всякой творческой искры, чья душа, если только она у него была, получена им из вторых рук? Он же вообще не поэт, это же француз эпохи Августа, француз в длинноволосом парике!
815. Разумеется, заявил Сеттембрини, предыдущий оратор уж найдет пути и способы сочетать презрение к расцвету римской цивилизации со своей профессией преподавателя латыни! Все же следует указать ему на то, что, изрекая подобные суждения, он впадает в глубокое противоречие с дорогими его сердцу средними веками, ибо они не только не презирали Вергилия, не только признавали его величие, но сделали из него, в простоте душевной, сильного своей мудростью чародея.
816. Вашему неотесанному «утру эпохи» придется пойти учиться к тем, к кому вы хотели вызвать презрение и в себе и в других, так как без образования вы же не выстоите перед лицом человечества, а существует лишь одно образование: то, которое вы именуете буржуазным, хотя оно по существу общечеловеческое! Вы считаете, что конец гуманистического воспитания — вопрос всего нескольких десятилетий? — Только вежливость мешает ему, Сеттембрини, расхохотаться столь же беспечно, сколь и насмешливо. Европа умеет хранить свое извечное достоинство и, просто перешагнув через всякие пролетарские апокалипсисы, которые измышляются то здесь, то там, совершенно спокойно перейдет к стоящему в порядке дня классическому разуму.
817. То образование и воспитание, которое нужно народу для борьбы с прогнившим буржуазным государством, он уже давно умеет находить в другом месте, а не в административных принудительных учебных заведениях; и уже всем известно, что вообще тип нашей школы, такой, каким он вырос из монастырской школы средневековья, — это нелепый пережиток и анахронизм, что уже никто не обязан истинной образованностью современной школе и что свободное, общедоступное обучение, осуществляемое с помощью публичных лекций, выставок, фильмов, несравненно выше всякого образования, получаемого в школе.
818. Нужно быть литератором эпохи Возрождения, жеманником, писателем семнадцатого века, маринистом, шутком *estilo culto*[220], чтобы придавать таким учебным предметам, как чтение и письмо, столь преувеличенное и исключительное образовательное значение и считать, что там, где ими не овладели, царит духовная ночь. Может быть, господин Сеттембрини вспомнит, что величайший поэт средневековья, Вольфрам фон Эшенбах, был неграмотен? В те времена в Германии считалось зазорным посылать в школу мальчика, если он не собирался стать священником, дворянски-народное презрение к искусству литературы говорило и говорит о принадлежности к аристократии, а литератор, этот истинный сын гуманизма и буржуазии, хоть и умеет читать и писать, чего дворянин, воин и народ не умеют или умеют только кое-как, — но уж, кроме этого, он решительно ничего на свете не умеет: это и в наши дни просто латинизированный болтун, он ведает словами, а жизнь предоставляет порядочным людям, почему и политику превращает в сплошную болтовню, а именно — в сплошную риторику и изящную словесность, которые на языке

упомянутой партии называются радикализмом и демократией, — и так далее и тому подобное.

819. — Аристократизм? — воскликнул он. — Только враг человечества способен назвать этим именем бессловесность, грубую и немую предметность. Аристократична, наоборот, только благородная роскошь, generosità, она выражается в признании за формой, независимо от содержания, определенной самостоятельной ценности; культ речи как искусства и ради самого искусства
820. То, что вы хотели оклеветать, как расхождение слова и жизни, оказывается на самом деле лишь более высокой формой единства в венце прекрасного, и я не боюсь за возвышенную духом молодежь, когда она будет делать выбор между литературой и варварством.
821. Они все неверно заостряют, эти двое, впрочем, должно быть так и нужно, когда люди жаждут спора и яростно препираются, противопоставляя одну крайнюю точку зрения другой; а ему кажется, что где-то посередине между непримиримыми полярностями, между болтливым гуманизмом и неграмотным варварством, и находится то, что можно было бы примирительно назвать человеческим или гуманым. Но он не высказал этого вслух, чтобы не рассердить обоих противников, и, замкнувшись в своей независимой сдержанности, наблюдал за тем, как они продолжают спор и, враждуя, невольно помогают друг другу без конца перескакивать с пятого на десятое, — и все это после того, как Сеттембрини дал толчок своей безобидной шуткой по поводу латинянина Вергилия.
822. на что Нафта возразил, что господин Сеттембрини немножко приврал и сделал образ Тота-Трисмегиста уж очень прилизанным. А ведь на самом деле это скорее обезьянье, лунное божество, повелитель душ, павиан с полумесяцем на голове; как Гермес, он прежде всего бог смерти и бог мертвых, владыка и вожатый человеческой души, который для более поздней античности стал архичародем, а для кабалистического средневековья — отцом герметической алхимии.
823. Что? Что? В мыслях Ганса и в мастерской его мозга, где создавались понятия и представления, все смешалось. Оказывается, перед ним смерть в синем плаще, исполняющая роль гуманистического ратора; а если приглядеться повнимательнее, то, вместо литературно-педагогического бога и друга человечества, на него смотрит этакая обезьянья морда, и у нее на лбу — символ ночи и колдовства...
824. Наш так называемый исправитель человечества, правда, твердит об очищении и освящении, но на самом деле стремится к оскотлению и обескровливанию жизни: дух, изуверствующая теория оскверняют жизнь, и тот, кто хочет уничтожить страсти, у того одна цель, и цель эта — «Ничто», чистое ничто, ибо «чистое» — единственный атрибут, который приложим к «Ничто». Вот тут-то господин Сеттембрини, литератор, и показал свое истинное лицо, лицо слугителя прогресса, либерализма и буржуазной революции. Ведь прогресс — это нигилизм в чистом виде, а для либерального буржуа основное — культ этого «Ничто» и дьявола, да, он отрицает Бога, отрицает консервативный и позитивный Абсолют, ибо дает клятву верности дьявольскому антиабсолюту и со своим мертвым пацифизмом еще воображает себя невесть каким праведным. Но тут и речи не может быть ни о какой праведности, — он величайший преступник перед жизнью и заслуживает того, чтобы его привлекли к ответу перед ее инквизицией, строго судили на ее тайном судилище, et cetera[221].
825. Так Нафта сумел, искусно нанося удары, превратить хвалебный гимн в дьяволиаду и изобразить из себя воплощенного хранителя строгой любви, почему снова стало совершенно невозможным понять, где Бог и где дьявол, где жизнь и где смерть. Читатель поверит нам на слово, что противник Нафты обладал достаточной отвагой для достойного ответа, блестяще опроверг его и получил, в свою очередь, не менее решительный отпор; перепалка продолжалась еще некоторое время, причем обе стороны начали повторяться, высказывая уже приведенные точки зрения. Ганс Касторп перестал слушать
826. Да, тут, видимо, было внушение, согласился Ганс Касторп, очень любопытно это констатировать, хотя и вышла неприятность.

827. — Вы всегда хотите, чтобы все было неопасно, Касторп, уж такой вы человек. Иногда вы сами вовсе не прочь пуститься и в небезопасные предприятия, но тогда вы ведете себя так, как будто они совершенно безобидные, и надеетесь угодить этим и Богу и людям. Вы, милейший, все-таки трус, тихоня и ханжа, и когда ваш кузен вас называет человеком штатским, это еще очень мягко сказано.
828. — Сказал вам правду, но приятно подслащенную и подкрашенную? Вы хотите приставать ко мне и надоедать, чтобы я поддержал в вас ваше проклятое лицемерие и вы бы могли спать сном невинности, когда другие бодрствуют и за все несут ответственность?
829. — Да, строгость, этим качеством вы не блещете. Вот ваш кузен — совсем другой человек, он сделан из другого теста. Он знает, в чем дело. Знает и молчит, понимаете? Он не хватает людей за фалды, чтобы они напустили ему розового туману насчет всяких неопасностей. Он понимал, что делал и что ставил на карту, он — настоящий мужчина, он знает, как надо себя держать и как держать язык за зубами, и это мужское искусство, а такие, как вы, двуногие конфетки, к сожалению, на него не способны. Однако я вам заявляю твердо, Касторп, если вы тут начнете разыгрывать драмы, поднимете крик и дадите волю вашим штатским чувствам, я вас отсюда выставлю. В таких случаях здесь место только мужчинам, поймите же.
830. Однако Ганс Касторп отвечал односложно, да, случай серьезный, но до известной степени и отрицал эту серьезность, чувствуя, что недостойно раньше времени ставить крест на Иоахиме.
831. Ведь о том, что знали оба, говорить было незачем, оба они — люди сдержанные, замкнутые, даже по имени называют друг друга только в исключительных случаях.
832. А Иоахим шагал рядом с ним, опустив голову. Он смотрел себе под ноги, словно созерцал землю. Как странно: вот он идет, подтянутый и аккуратный, с рыцарской вежливостью кланяется встречным, он по-прежнему заботится о своей наружности, о приличиях, и вместе с тем он уже обречен земле. Конечно, все мы будем обречены ей рано или поздно. Но когда человек так молод, так радостно жаждет служить знамени, это очень горько;
833. Ведь фактически смерть больше затрагивает остающихся, чем уходящих; ибо знаем мы эту цитату или нет, но слова некоего остроумного мудреца сохраняют для нас и теперь свой полный внутренний смысл: пока мы есть, смерти нет, а когда есть смерть — нас нет; таким образом, между нами и смертью не возникает никаких конкретных связей, это такое явление, которое нас вообще не касается, и лишь отчасти касается мира и природы, почему все создания взирают на нее с большим спокойствием, хладнокровием, безответственностью и эгоистическим простодушием.
834. она регулируется и определяется здоровым чувством пристойности, не допускающим никаких обсуждений этого знания, как не допускается обсуждение других неприличных функций жизни, — она их осознает, она обусловлена ими, но они не мешают ей соблюдать приличия.
835. Как удивителен этот стыд перед жизнью, охватывающий земную тварь, которая прячется в укромное место, чтобы там умереть, уверенная, что на воле, среди природы, ей нечего ждать ни бережности, ни благоговения к ее страданиям и смерти; ведь стая быстрокрылых птиц не только не чтит больного товарища — она с яростью и презрением забивает его клювами. Но такова примитивная природа, а в груди Ганса Касторпа вспыхивала глубоко человеческая любовь и жалость, когда он видел в глазах бедного Иоахима затаенный инстинктивный стыд.
836. Ганс Касторп и для этого нашел бережные, и все же ясные слова.
837. Сколько раз происходили здесь, наверное, такие встречи, сколько раз бросались люди друг к другу и сошедший с поезда испытующе и тревожно заглядывал в глаза встречавшему его!
838. понял ясно и отчетливо то, что, без сомнения, поняла и она и что сам Иоахим знал лучше их обоих, а именно, что он уже стал «морибундусом».
839. Луиза Цимсен была мужественная женщина. Она не предалась отчаянию, видя, как тверд и спокоен ее сын. С полным присутствием духа, изо всех сил сдерживая себя, так же как сдерживала едва заметная сетка ее волосы, флегматичная и решительная, она смотрела на

- него, и в ней разгоралась жажда материнской борьбы за сына и глубокая вера в то, что если еще можно его спасти, то это сделает только ее воля и ее бдительность.
840. — И во сне не снилось, что придется ухаживать за одним из вас перед смертью... Испуганный Ганс Касторп с яростью показал ей кулак, но она едва ли поняла почему, далекая от мысли, что нужно щадить Иоахима, в чем была права, — и слишком трезво настроенная, чтобы допустить, будто кто-нибудь, особенно лицо столь близкое, может предаваться иллюзиям относительно характера и исхода болезни. «Вот, — сказала она, намочила носовой платок одеколоном и поднесла его к носу Иоахима, — побалуйте себя напоследок, лейтенант!» Да и действительно, какой смысл был втирать очки бедному Иоахиму, — может быть, только для бодрости, как полагала фрау Цимсен, когда уверенно и прочувствованно говорила ему о выздоровлении. Ибо две вещи были бесспорны и очевидны: что, во-первых, Иоахим с совершенно ясным сознанием ожидает приближения смерти и, во-вторых, что он ожидает ее в полном мире и согласии с самим собой.
841. Ганс Касторп, которому горе и боль не мешали со вниманием наблюдать за двоюродным братом, описывая этот факт в разговорах с Нафтой и Сеттембрини, строил всевозможные хитроумные, но шаткие теории и получил от итальянца даже выговор, когда заявил, что ходячий взгляд, будто философская вера и надежда на победу добра служат признаком здоровья, а склонность все видеть в мрачном свете и все осуждать — признак болезни, — видимо, ошибочен, ибо тогда именно безнадежное предсмертное состояние не могло бы вызывать у Иоахима такого оптимизма, а теперь в сравнении с его розовыми, но трагическими иллюзиями предшествующее уныние кажется мощным и здоровым проявлением жизни. К счастью, он мог сообщить соблезнующим слушателям, что Радамонт даже в самой безнадежности оставляет надежду и предсказывает Иоахиму, невзирая на его молодость, спокойную и безболезненную кончину.
842. Я знаю смерть, я давно служу при ней, ее переоценивают, поверьте мне! Могу сказать вам, что ничего особенного тут нет. Ведь нельзя же те мучения, которые в некоторых случаях ей предшествуют, относить за счет самой смерти, они — дело переменчивое и могут послужить жизни и привести к выздоровлению. Но о смерти ни один человек, если бы он ожил, ничего не смог бы толком рассказать, ведь смерть не переживают. Мы приходим из тьмы и уходим во тьму, между этим лежат переживания, но начало и конец, рождение и смерть нами не переживаются, они лишены субъективного характера, как события, они целиком относятся к сфере объективного, вот как обстоит дело.
843. Таков был способ гофрата утешать близких.
844. Он жил ускоренными темпами, словно раскручивавшаяся пружина от часов, он галопом проносился через возрасты, которых ему не было суждено достигнуть в условиях обычного времени, и за последние сутки превратился в старца.
845. Потом он стал замкнут и неприветлив, даже невежлив; оставался глух ко всяким выдуманному утешениям и прикрасам, не отвечал на них, смотрел перед собой отчужденным взглядом.
846. Луиза Цимсен, рыдая, отвернулась, поэтому именно Ганс Касторп кончиком безымянного пальца закрыл веки неподвижному и бездыханному Иоахиму и бережно сложил ему руки на одеяле.
847. Потом стал рядом и заплакал, по его щекам бежали слезы, которые некогда так обжигали щеки английского морского офицера, — эта прозрачная влага, столь щедро и горестно льющаяся по всей земле в каждое мгновение, что ее именем называли земную юдоль — долиной слез, — этот щелочно-соленый продукт желез, который исторгается из нашего тела потрясающим нервы, мучительным страданием. Касторпу было также известно, что в этом продукте содержится немного муцина и белка.
848. — Ошибка литераторов в том, что они воображают, будто бы только дух придает благообразие. А правильное скорее обратное. Благообразие там, где нет духа.
849. «Ну, — подумал Ганс Касторп, — прямо пифийское изречение! Если произнести его и замкнуть уста, то на миг все даже растеряются...»

850. Однако представитель бюро выказал присущее специалистам самомнение, ибо он, видимо, считал, будто вся его деятельность должна протекать как бы за кулисами, и следует показывать оставшимся только почтенно-парадные ее результаты, что вызвало у Ганса Касторпа даже возмущение и совершенно не соответствовало его намерениям
851. Можно ли рассказать время, какое оно есть, само время, время в себе? Конечно же, нет, это было бы нелепой затеей. Рассказа, который мы вели бы примерно так: «Время текло, бежало, потоком проносилось время...» — и все в том же роде, — никто, будучи в здравом уме, не признал бы за рассказ. Все равно как если бы некий фантазер целый час повторял одну и ту же ноту или один и тот же аккорд, уверяя, будто это и есть музыка. Ибо рассказ тем и подобен музыке, что тоже заполняет время, «достойно его заполняет», «делит его», что-то «начинается», что-то «происходит», как выразился покойный Иоахим, если мы, с тем горестным пиететом, с каким вспоминают речения умерших, вспомним его слова, слова давно умолкшие, мы еще не знаем, уяснил ли себе читатель, сколь давно они умолкли. Время — одна из необходимых стихий рассказа, так же как оно является одной из стихий жизни, ведь жизнь неразрывно связана с временем и с телами в пространстве. И оно также стихия музыки, которая отмеряет его, делит, делает быстролетным, драгоценным и тем самым, повторяем, роднит музыку с рассказом, ибо рассказ тоже (но иначе, чем отражающее один-единственный миг произведение изобразительного искусства, связанное с временем лишь как тело) предстает нам только как некая последовательность и как некое течение, и даже если бы он стремился в каждый данный миг быть тут весь перед нами, от начала и до конца, он все же нуждался бы во времени для своего развертывания.
852. Существуют записки курильщиков опия, доказывающие, что одурманенный за короткое время своего выключения из действительности переживал сновидения, охватывающие периоды в десять, тридцать, даже в шестьдесят лет, а иногда и уходящие за грань всякого возможного и доступного человеку восприятия времени; следовательно, в этих сновидениях, где воображаемый охват времени мощно превосходил их собственную продолжительность, царило невероятно сокращенное переживание времени, а образы, теснясь, сменялись в них с такой быстротой, словно, как выразился один приверженный к гашишу наркоман, из мозга опьяненного вынули нечто подобное испорченной ходовой пружине в часах.
853. Но если он может как-то «обращаться» с временем, то ясно, что время, будучи его стихией, может стать и темой рассказа; и если едва ли возможно «рассказать время», то попытка рассказать о времени, видимо, не так уж бессмысленна, как могло представиться вначале, и поэтому «роман о времени» может приобрести своеобразный двойной и фантазмагорический смысл.
854. Подобное явление возможно именно из-за отсутствия в нашей душе какого-либо органа времени, и поэтому нашей полной неспособности, исходя из самих себя, без внешней точки опоры, измерять, хотя бы с приблизительной точностью, течение времени. Известен случай, когда горняки, засыпанные в шахте и отрезанные от всякого наблюдения за сменой дня и ночи, после своего благополучного спасения, определили срок, проведенный ими во мраке, между надеждой и отчаяньем, как три дня. А на самом деле прошло десять. Можно было бы думать, что в столь гнетущем состоянии время должно казаться более долгим, чем на самом деле. А для них оно как бы усохло и сжалось до одной трети своей объективной продолжительности. Видимо, люди, при сбивающих с толку условиях, склонны, в своей беспомощности, ощущать время скорее сильно сокращенным, чем растянутым.
855. боязнь, удерживавшая его, была боязнью его совести, хотя совершенно очевидно, что не считаться с временем — это самый худший вид бессовестности.
856. правда, ее возврат был иным, чем представлял себе в мечтах Ганс Касторп, но об этом мы скажем в своем месте
857. приближался самый короткий день года, или, выражаясь астрономически, наступило начало зимы. В действительности же, невзирая на теоретический распорядок, и если считать зимой снега и морозы, то она наступила опять Бог знает как давно, собственно

- говоря, она и не прекращалась, лишь иногда перемежаясь знойными летними днями с неправдоподобно синим, почти черным небом.
858. С тех пор этот обман чувств и ума принял гораздо больший размах.
859. Время, даже если его субъективное восприятие ослаблено или отсутствует, обладает все же конкретной реальностью, поскольку оно деятельно, поскольку оно вынашивает перемены. Вопрос о том, находится ли стоящая на полке герметически закрытая банка с консервами в потоке времени или вне времени, — это вопрос для мыслителя-профессионала, Ганс Касторп занялся им только из юношеской самонадеянности.
860. А вот что сказать о сыне земли, притом находящемся в таком возрасте, когда день, неделя, месяц, три месяца еще должны играть столь важную роль, приносить в его жизнь столько успехов и перемен?
861. Учители средневековья утверждали, что время — иллюзия, что его течение в формах причинности и последовательности — лишь восприятие наших органов чувств, особым образом построенных, истинное же бытие вещей — это неподвижное «теперь».
862. Заниматься критикой средств и форм человеческого познания, ставить под вопрос самую их ценность, было бы абсурдно, бесчестно, было бы коварством, если бы эта критика не имела иной цели, как указать разуму его границы, которые он не может переступить, не пренебрегая своими истинными задачами. И мы можем только быть благодарны такому человеку, как Сеттембрини, когда он со всей твердостью педагога заявил молодому человеку, чья судьба нас интересует, и которого он при случае так метко назвал «трудное дитя нашей жизни», когда этот педагог заявил, что метафизика — зло. И лучше всего мы почтим память дорогого нам покойника, подчеркнув, что у критики должны и могут быть лишь один смысл, одна задача и цель: это идея долга, выполнение приказов жизни. Да, в то время как законополагающая мудрость критически разметила границы разума, она на тех же границах водрузила знамя жизни и объявила воинской повинностью человека — служить под ним!
863. Мало того, что здесь самолично проживала упомянутая принцесса, — среди ее маленькой свиты находился еще мавр-кастрат, человек больной и хилый, но, невзирая на свою конституцию, над которой любила потешаться Каролина Штёр, цеплявшийся за жизнь больше, чем кто-нибудь
864. — Господа... Хорошо. Кон-чено. Однако имейте в виду, и... ни на мгновение не забывайте... что... Впрочем, об этом молчу. То, что мне следует высказать, и не столько это, сколько прежде всего главное, что мы обязаны... к нам обращено несокрушимое... повторяю и хочу всячески подчеркнуть это слово... несокрушимое требование... Нет, нет, господа, не то! Не то, чтобы, скажем я... было бы большой ошибкой думать, что я... Кон-чено, господа! Я уверен, что мы все единокорны... итак, приступим к делу! В сущности, он ничего не сказал, но голова его была настолько внушительна, мимика и жесты до такой степени категоричны, проникновенны и выразительны, что слушателям, в том числе и Гансу Касторпу, казалось, будто они узнали нечто чрезвычайно важное, а те, кто понял, что в конце концов все же ничего конкретного и ясно выраженного в словах не последовало, не пожалели об этом. И мы спрашиваем себя: а что испытал бы глухой? Быть может, он огорчился бы, так как по выражению лиц судил бы о выраженном словами, и вообразил бы, что из-за своей глухоты оказался как бы духовно обойденным. Такие люди легко обижаются и склонны к недоверию. Некий молодой китаец, на другом конце стола, еще недостаточно владевший немецким, просто не понял того, что говорит Пеперкорн, но слышал его и видел, и выразил свое удовольствие, воскликнув «very well!»[226]. И даже заплодировал.
865. Недели эти проскользнули незаметно, не вызвав никаких перемен, в нашем же герое они вызвали ставшую для него уже привычной упрямую злость против непредвиденных препятствий, вынуждавших его к сдержанности, которая, таким образом, отнюдь не являлась его заслугой; против основного препятствия, возникшего перед ним в лице Питера Пеперкорна, как тот себя именовал, когда собирался выпить рюмку водки, и главным образом — против присутствия этого по-царски величественного непонятого человека,

- действительно «мешавшего» Гансу Касторпу в гораздо более грубой форме, чем мешал в былые дни господин Сеттембрини.
866. Он словно приворожил их своими бледными глазами и мощными складками лба, держал в постоянном напряжении выразительностью проработанных жестов своих рук с длинными ногтями, причем окружающие не испытывали ни малейшего разочарования от того, что слова, следовавшие за этими жестами, были бессвязны, неясны и даже сумбурны.
867. вынужден был признать, что, когда этому ожиданию в результате определенных событий пришел конец, сам он остался в дураках, поэтому его мысли и брели горькими путями упрямой злости, от которых было недалеко до решения бросить газету на это неудобное и случайно подвернувшееся кресло, выйти через дверь, ведущую в вестибюль, и, так как вечер испорчен, сменить общество больных на морозное одиночество на балкончике вдвоем с «Марией Манчини».
868. — Да, он был храбрый. Радамант вечно упрекал его за чрезмерное усердие и пыл. Но тело привело его к другому. Иезуиты называют это *rebellio carnis*. Он всегда был обращен к телесному, но в достойном смысле слова. Однако его тело дало проникнуть в себя недостойному началу и обмануло его чрезмерный пыл. Впрочем, нравственнее потерять себя и даже погибнуть, чем себя сберечь.
869. — А, Сеттембрини, знаю. Тот итальянец... Я его не любила. Слишком мало в нем человеческого. (Голос произнес «человееческого», лениво и мечтательно растягивая звук «е».)
870. Он смотрел на всех свысока (она сделала ударение на втором слоге). Его уже тут нет? Я глупа. Я не знаю, кто это — Радамант. — Нечто гуманистическое. А Сеттембрини переехал. Мы все это время отчаянно философствовали, он, Нафта и я.
871. — Его противник. — Раз он противник, мне хотелось бы с ним познакомиться.
872. — Ну вот, опять! Разве так разговаривают с дамой, с которой едва знакомы! — Что ж, прикажешь говорить по-гуманистически, а не по-человечески?
873. — Ах, мы, видимо, не в духе. Нам хочется быть злым, язвительным. Мы пытаемся поиздеваться над людьми, которые гораздо великодушнее, лучше и человечнее, чем мы сами с нашими... *avec son ami bavard de la Méditerranée, son maître grand parleur...*[232]
874. Впервые он оказался под непосредственным воздействием мощной индивидуальности Пеперкорна (в его присутствии всегда приходило на ум именно это слово — индивидуальность, и человек вдруг начинал понимать, что такое индивидуальность, больше того — он убеждался, что индивидуальность иначе и выглядеть не может), и Ганс Касторп, при его хрупком юношеском возрасте, чувствовал себя как бы придавленным тяжестью этих плечистых багроволицых шестидесяти лет, этого старика в белом пламени волос, со страдальчески-разорванным ртом и острой бородкой, длинной и узкой, спускавшейся на глухой, как у пастора, жилет. Впрочем, Пеперкорн был сама любезность.
875. Он прямо-таки разъярился, когда кто-то рискнул взять закуску под свою защиту; его массивное лицо налилось кровью, он грохнул кулаком по столу и заявил, что все это дрянь, после чего гости растерянно замолчали, ибо угощал-то в конце концов он, он был хозяином и имел право судить о своих дарах.
876. Пусть подадут яичницу, на всех, — вкусную яичницу с зеленью, чтобы иметь силы отвечать требованиям жизни.
877. Ганс Касторп неожиданно обнаружил, что Пеперкорн отчаянно пьян. Но даже опьянение не казалось в нем чем-то низменным и постыдным, не бесчестило его, но придавало его величественному облику что-то грандиозное, вызывающее благоговение. Да ведь сам Вахх, думал Ганс Касторп, будучи пьян, опирался на своих восторженных последователей, не теряя при этом ни капли своей божественности, ведь все дело в том, кто пьян, крупная индивидуальность или ничтожество.
878. Но в этом же скрыто и оправдание — извините меня, я, по натуре, имею склонность оправдывать, хотя, если оправдываешь, о каких масштабах может идти речь, я это ясно ощущаю, в этом и состоит оправдание порока и именно постольку, поскольку источником порока является неполноценность, как вы ее назвали. Об ужасах неполноценности вами

высказаны мысли таких масштабов, что, прямо говоря, я поражен. Но мне кажется, порочный человек все-таки весьма восприимчив к этим ужасам, он вполне признает их, ибо именно бессилие его чувств в отношении классических даров жизни и толкает его к пороку, и тут нет оскорбления жизни или может не быть, это может предстать, наоборот, как прославление этих даров, поскольку всякая утонченность связана с хмелем и возбуждением, то есть со *stimulantia*, она служит для повышения силы наших чувств, мы видим, что и тут цель и смысл — все-таки сама жизнь, любовь к чувствам, стремление неполноценного к чувству... я хочу сказать...

879. вино, дар богов человечеству, как утверждали еще древние гуманистические народы, филантропическое изобретение некоего бога, с которым, позвольте мне это отметить, связано даже развитие цивилизации. Ведь мы знаем, что благодаря умению выращивать и давить виноград люди перестали быть варварами, обрели культурные нравы, и до сих пор народы, в чьих странах растет виноград, считаются или считают себя культурнее, чем те, у кого нет виноделия, например, кимвры, что, несомненно, заслуживает внимания. Ибо это показывает, что культура — вовсе не плод рассудка и ясно выраженной трезвости ума, она скорее связана с воодушевлением, с хмелем и услажденностью чувств; разве — разрешите мне дерзкий вопрос — и вы не смотрите на это так же?
880. Ну и хитрец этот Ганс Касторп, или, как выразился с непринужденностью литератора господин Сеттембрини, — малый себе на уме! Неосторожный и даже дерзкий в общении с крупными индивидуальностями — и вместе с тем умеющий в случае чего ловко выпутаться из беды. Попав в опасное положение, он, во-первых, симпровизировал блестящую речь в защиту пьянства, затем, как бы попутно, свернул на культуру, — говоря по правде, в первобытно устрашающей позе мингера Пеперкорна ее ощущалось весьма мало, — и наконец заставил его ослабить напряженность этой позы и понять ее неуместность, задав величественно застывшему голландцу вопрос, на который невозможно было отвечать с занесенным кулаком.
881. Однако обратите внимание и вспомните: Гефсимания!.. «И взял с собой Петра и обоих сынов Зеведеевых. И говорит им: побудьте здесь и пободрствуйте со мной». Помните? «И приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру: не могли вы один час пободрствовать со мною?» Сильно, господа. Пронзает. Хватает за сердце. «И, пришедши, находит их спящими; ибо глаза у них отяжелели. И говорит им: вы все еще спите и поживаете? Вот приспел час...» Господа, это... это ранит, это раздирает сердце.
882. Гости предавались блаженной праздности, они обменивались бессвязными фразами, казалось — эти фразы были подсказаны самыми высокими чувствами и в своем зачатке обещали нечто поистине прекрасное, но на пути к их выражению превращались в какую-то отрывистую и нечленораздельную, частью нескромную, частью просто малопонятную галиматью, вызвавшую бы у трезвого наблюдателя гнев и стыд; однако сами участники пира относились к этому очень легко, ибо все были в таком же состоянии.
883. голландец отпустил непокорного, хотя еще долго, подняв складки на лбу, смотрел ему вслед через свое плечо и плечо малайца, изумленный таким непослушанием, к которому его властная натура, должно быть, не привыкла.
884. он вынужден был признать, что оба его сверхблагоразумных воспитателя, подступавших с двух сторон к его бедной душе, рядом с Питером Пеперкорном превращаются в карликов, даже хочется назвать их так же, как его самого шутливо назвал в своем царственном хмелю Пеперкорн, а именно «болтунчиками»; и как это хорошо и удачно, что герметическая педагогика свела его и с такой ярко выраженной индивидуальностью.
885. Наша наука о лекарствах хорошо делает, что не особенно кичится своими достижениями, ведь судьба хинина постигла многие другие средства: нам известно кое-что о динамике, о воздействии данного вещества, но на вопрос о причинах этого воздействия наука слишком часто не знает, что ответить. Пусть молодой человек почитает о ядах — никто не сможет объяснить ему, каковы те элементарные свойства, от которых зависит действие так называемых ядовитых веществ. Возьмем хотя бы змеиные яды — о них известно только то, что эти вещества принадлежат к ряду белковых соединений, состоят из различных

белковых веществ и лишь в определенных соединениях — на деле совершенно неопределенных — оказывают катастрофическое действие: будучи введены в кровь, они вызывают такие изменения, которым можно только дивиться, — нам трудно сочетать понятие о белках с понятием о яде.

886. Не напоминало ли это раздражение до известной степени то чувство, которое некогда определило ее отношение к Сеттембрини? К этому краснобаю и гуманисту, которого она терпеть не могла, утверждая, что он высокомерен и бесчеловечен?
887. она не понимала в нем ни звука, так же как и он не понимал ее языка, но она не держалась так самоуверенно и пренебрежительно
888. Ганс Касторп, который был жестоко влюблен и потому оказался зависимым, покорным, страдающим и подчиненным, все же нашел в себе силы сохранить даже в рабстве известное лукавство и догадался, что пленительно крадущаяся больная с прелестными щелками татарских глаз, вероятно, дорожит и будет дорожить его преданностью
889. то была обычная неприязнь воспитателя к женщине, как к элементу, который мешает и отвлекает воспитанника, и эта немая исконная вражда объединяла их, а в ней растворились и их сгущенные в педагогических целях разногласия.
890. Но и так он был на целую голову выше господина Лодовико и тем более недомерка Нафты; и не только поэтому его присутствие с такой силой, с такой исключительной силой, как и представлял себе заранее Ганс Касторп, угнетало обоих политиков. Это был особый гнет, порожденный сравнением, в результате которого они чувствовали себя униженными и умаленными; все это ощущал и лукавый наблюдатель, и хилые сверхболтуны, и величественный заика.
891. Пеперкорн обращался с Нафтой и Сеттембрини безукоризненно учтиво и с таким вниманием и почтением, которое Ганс Касторп принял бы за иронию, если бы не был глубоко убежден, что понятие иронии несовместимо с представлением о человеке больших масштабов. Царям ирония неведома, даже как откровенный и классический прием ораторского искусства, уже не говоря о более сложных ее формах.
892. — Бесспорно, — сказал он. — Превосходно! Так оно и есть... Позвольте мне... Хорошо! — Он попытался воспроизвести не только речь, но и проработанные жесты Пеперкорна. — Да, да, — продолжал он смеясь. — Вы находите, что это глупо, господин Сеттембрини, и можно подумать, что, в ваших глазах, нет ничего хуже глупости. Ах, глупость! Ведь есть столько различных видов глупости, и разумность — не лучший вид... Ага! Я, кажется, сейчас сострил? Удачно? Вам нравится?
893. — Весьма. Я с нетерпением жду вашего первого сборника афоризмов. Может быть, еще не поздно, и я попрошу вас вспомнить некоторые соображения о человеконенавистнической сущности парадокса, которыми мы с вами как-то обменялись. — Непременно, господин Сеттембрини. Непременно вспомню, и я этой остротой вовсе не гнался за парадоксами. Я хотел только указать на большие сложности, которые возникают при определении понятий «глупости» и «разумности». Ведь возникают? Верно? Их так трудно отделить одно от другого, они так легко переходят друг в друга... Знаю, вы терпеть не можете мистического *guazzabuglio*, вы стоите за ценности, за суждение, за оценку, и тут вы совершенно правы. Но где «глупость» и где «разумность» — это иногда совершеннейшая тайна, а ведь разрешается же интересоваться тайнами, при наличии честного стремления по возможности глубже проникнуть в их сущность. Я спрашиваю вас об одном: я спрашиваю — можете вы отрицать, что он всех нас заткнул за пояс? Я выражаюсь грубо, и все-таки, насколько я понимаю, вы не можете этого отрицать. Он заткнул нас за пояс, и что-то дает ему право смеяться над нами. Почему? Как? В каком смысле? Уж конечно, не на основании своей разумности. Ведь он скорее путаник, человек чувства, чувство — это как раз его пунктик, простите мне ходячее выражение! Итак, я говорю: не своей разумностью заткнул он нас за пояс, то есть не по причине высокого ума, — вы первый возмутились бы при таком утверждении, и это исключено. Но и не по причинам физического порядка! Не из-за капитанских плеч и сильных мышц, не потому, что он мог бы свалить каждого из нас ударом кулака, — ему и в голову не приходит, что он мог бы это сделать, а если когда-

нибудь придет, то достаточно двух-трех вежливых слов, чтобы успокоить его... Следовательно, тут и не физические причины. И все-таки физическая сторона здесь, несомненно, играет роль — не в смысле грубой силы, а в другом, в мистическом смысле, — ведь как только телесное начало начинает играть роль, мы имеем дело с мистикой, — физическое переходит в духовное, и наоборот, их тогда не отличишь, как не отличишь глупость от разумности, но воздействие налицо, это момент динамический, и нас затыкают за пояс. Для обозначения этого у нас есть только одно слово — индивидуальность. Его употребляют очень широко, все мы индивидуальности — в моральном, юридическом и во всяких иных смыслах. Но в данном случае надо это слово понимать иначе, — как тайну, которая выше глупости и разумности, и которой мы все же имеем право интересоваться — отчасти, чтобы по возможности глубже проникнуть в ее сущность, и если проникнуть невозможно, то хотя бы на этом поучиться. А если вы за ценности, то индивидуальность тоже положительная ценность, как мне кажется, — более положительная, чем глупость и разумность, — в высшей степени положительная, абсолютно положительная, как сама жизнь, — словом, это одна из жизненных ценностей и вполне заслуживает того, чтобы ею интересоваться. Вот что я считал необходимым возразить на ваши слова относительно глупости.

894. За последнее время Ганс Касторп уже не путался и не сбивался, когда приходилось выкладывать то, что было на душе, не застревал посередине фразы. Он договаривал все до конца, понижал голос, соблюдал точку и продолжал говорить как настоящий мужчина, хотя все-таки краснел и немного боялся того критического молчания, которое последует за его словами, чтобы устыдить его.
895. — Хорошо, пусть это игра природы, — продолжал Ганс Касторп. — Но и не только игра природы, не только надувательство. Ведь если эти люди — актеры, у них же должен быть талант, а талант выше глупости и разумности, он сам — жизненная ценность. У мингера Пеперкорна, что ни говорите, талант есть, поэтому-то он и заткнул нас за пояс. Посадите в один угол господина Нафту, пусть прочтет лекцию о Григории Великом и о граде Божьем, это будет очень поучительно, и пусть в другом углу стоит Пеперкорн, со своим необычным ртом и своими поднятыми складками на лбу, и пусть он говорит только свое «Беспорно! Разрешите мне — кончено!» — и вы увидите, что люди соберутся вокруг Пеперкорна, а Нафта останется в полном одиночестве со всей своей разумностью и градом Божьим, хотя он выражается с такой определенностью, что человека до костей пробирает, как говорит Беренс.
896. — А вы постыдитесь такого преклонения перед успехом! — укорил его Сеттембрини. — *Mundus vult decipi*[236]. Я вовсе не требую, чтобы вокруг господина Нафты собирались люди. Он ужаснейший интриган. Но в этой воображаемой сцене, которую вы живописуете с неподобающим сочувствием, я склонен стать на его сторону.
897. Попробуйте презреть ясность, точность, логичность и по-человечески связную речь! Попробуйте презреть ее ради каких-то фокус-покусов, состоящих из намеков и шарлатанской имитации высоких чувств, и вот вы уже попали в лапы к дьяволу.
898. — Вопрос темперамента, господин Сеттембрини. Вопрос особого пыла и воинственности крови. Конечно, вы, как южанин, обратились бы к помощи яда и кинжала, или действовали бы с принятой в свете страстной мужественностью и галантностью. То есть распетушились бы. Это было бы, бесспорно, очень мужественно, по-светски мужественно и галантно. Но у меня все это иначе. Я совсем не мужествен, то есть не вижу во всех мужчинах только самцов-соперников. Может быть, я вообще лишен мужественности, но, уж во всяком случае, не в том смысле, в каком, сам не знаю почему, назвал такое мужество «светским». И вот я спрашиваю себя, с моей рыбьей кровью, можно ли в чем-нибудь упрекнуть его.
899. Я болтаю всякий вздор, но лучше нести чепуху и при этом высказать хоть отчасти трудновыразимую мысль, чем изрекать лишь безупречные банальности
900. Лучше всего они оба чувствовали себя, когда речь заходила о чисто духовных проблемах и им удавалось привлечь внимание гуляющей с ними компании к этим дебатам, элегантным

и страстным, академическим и вместе с тем происходившим в таком тоне, словно это самые жгучие и животрепещущие вопросы дня

901. Но даже в таких случаях он чем-то давил на разговор, который словно обесцвечивался, терял свою суть, затухал; Пеперкорн совершенно бессознательно, или бог весть в какой мере сознательно, противопоставлял ему что-то, что не служило на пользу ни одному из противников, и в результате решающая важность спора как бы тускнела и даже — нам нелегко это признать — спор начинал казаться праздным занятием; иначе говоря, в этой схватке острых умов не на жизнь, а на смерть противники каким-то тайным, незримым и непонятым образом точно все время оглядывались на шагающий «масштаб» и теряли пафос, размагниченные силой его личности, иначе нельзя было объяснить столь неприятный для спорящих и загадочный факт.
902. Лео Нафта защищал исконную архиреволюционную сущность католической церкви против теорий Сеттембрини, который видел в этой исторической силе лишь защитницу мрачного консерватизма и косности и считал, что всякое стремление во имя светлого будущего перевернуть и обновить жизнь связано с противоположными, возникшими в славную эпоху Возрождения античной культуры принципами просвещения, развития науки и прогресса, и, отстаивая этот свой символ веры, не пожалел прекрасных жестов и слов. В ответ Нафта заявил холодно и резко, что он берется показать — и тут же показал с почти ослепительной очевидностью, что церковь, как воплощение религиозно-аскетической идеи, внутренне очень далека от того, чтобы служить поддержкой и защитой всему, что хочет устоять, то есть светскому образованию и государственному правопорядку, она, напротив, издавна и решительно провозгласила мятеж против этого; и все, что мнит, будто оно достойно сохраниться, все, что пытаются сберечь трусы, пошляки, консерваторы и мещане, а именно — государство, семью, светское искусство и науку, — всегда, сознательно или бессознательно, находилось в противоречии с религиозной идеей, с церковью, исконным стремлением и неизменной целью которой является уничтожение всех земных установлений и перестройка общества по образу идеального коммунистического града Божиего.
903. Такого рода противоречий и непоследовательностей, возразил Нафта, найдется и у противника сколько угодно. Оппонент считает себя демократом, но по его словам незаметно, чтобы он был другом народа и равенства, а напротив, он выказывает недопустимое аристократическое высокомерие, называя чернью мировой пролетариат, которому предназначена диктатура и представительство.
904. Ибо аскетический дух, да разрешат мне это многословие, дух отрицания мира и уничтожения мира — это само благородство, это аристократический принцип в чистом виде; он никогда не сможет стать народным, и, по сути дела, церковь во все времена была непопулярна. Если господин Сеттембрини потрудится взглянуть на культуру средневековья, на его литературу, он убедится, что это факт, он увидит то решительное отвращение, с каким народ, народ в широчайшем смысле этого слова, относился к церковности; достаточно вспомнить хотя бы образы некоторых монахов, создав которые народная фантазия, уже совсем по-лютеровски, провозгласила в противовес аскетизму вино, любовь и песню. Все инстинкты светского героизма и воинственности, а также придворная поэзия находились в более или менее открытой оппозиции к религиозной идее, а тем самым, и к духовной иерархии. Ибо все это была «земная жизнь» и «чернь» в сравнении с представленным церковью аристократизмом духа.
905. Как? Церковь лишена духовного благородства? Господину Сеттембрини тут же указали на неумолимый аристократизм, лежащий в основе идеи о наследственном стыде: о перенесении тяжелой вины — говоря с точки зрения демократической — на невинных потомков, как, например, пожизненная запятнанность и бесправие незаконных детей. Однако Сеттембрини попросил Нафту замолчать: во-первых, такие разговоры оскорбляют в нем гуманность, во-вторых, с него хватит уверток, а в апологетических подтасовках противника он снова узнает низкий и дьявольский культ какого-то «Ничто», претендующего на то, чтобы его называли духом, и заставляющего усматривать в

аскетическом принципе, чья непопулярность признана самим Нафтой, нечто в высшей степени правомерное и святое.

906. Как тут мог Сеттембрини не возмутиться, не запротестовать против столь недостойного употребления понятия «политики», против столь высокомерной снисходительности и благоразумия, какие дух, вернее то, что здесь называют духом, приписывает себе по сравнению со своей якобы грешной противоположностью, по отношению к которой надо вести особую «политику», хотя плоть на самом деле вовсе не нуждается в его язвительном «снисхождении»; против проклятой двойственности в понимании мира, которая стремится «одьяволить» Вселенную и жизнь, а тем самым и их противоположность, то есть дух: ибо если мир — начало зла, то должен быть им и дух как чистое отрицание мира.
907. Именно так обстояло дело. Между противоречиями не было потрескивания, не вспыхивала молния, не возникало тока; присутствие этой индивидуальности, нейтрализованное силой их духа, как им хотелось думать, скорее само нейтрализовало дух; Ганс Касторп отметил этот факт с изумлением и интересом.
908. Там — отрицание и культ какого-то ничто. Тут — вечное «Да» и любовная устремленность духа к жизни! Но куда же исчез и пыл, молния, ток, когда люди смотрели на мингера, — а это происходило неизбежно в результате какой-то загадочной силы притяжения? Короче говоря, они как бы исчезали, а это, пользуясь словами Ганса, было поистине тайной. Он мог записать для своего собрания афоризмов, что тайны раскрываются или в самых простых словах или не раскрываются вовсе. Чтобы выразить эту тайну, надо было всего-навсего сказать, но уж напрямик, что Питер Пеперкорн, со своей скульптурной царственной маской и горестно разорванным ртом, воплощает в себе обе крайности, что оба начала близки ему и друг друга в нем упраздняют, — при взгляде на него это становилось ясно: и первое, и второе, и то, и другое — да, в этом глупом старике, в этом самодержавном нуле! Он парализовал самый нерв противоречий, не сбивая спорящих с толку и не запутывая их, как делал Нафта; в нем не чувствовалось ничего двусмысленного, как в Нафте, он был чем-то совсем противоположным, положительным; эта переваливающаяся загадка пребывала не только вне глупости и рассудительности, но и вне многих иных противопоставлений, какие выдвигали Нафта и Сеттембрини, чтобы в педагогических целях создать высокое напряжение спора.
909. Но совсем не в их пользу складывалось положение, когда требовались не блеск и игра ума, не красноречие, а дело касалось конкретных вещей, земных и практических, — словом, вопросов и фактов, в которых властные натуры показывают свое преимущество: тогда спорщики скисали, отступали в тень, тускнели, а скипетром завладевал Пеперкорн, решал, распоряжался, призывал, заказывал, приказывал... И разве удивительно, что его тянуло именно к этой роли, что он стремился перейти от словопрений к действиям? Он страдал, пока окружающие предавались этим словопрениям или предавались слишком долго; но не из тщеславия страдал он тогда, — Ганс Касторп был в этом уверен. У тщеславия нет масштабов, и величие не бывает тщеславным. Нет, потребность Пеперкорна в конкретности вызывалась другим: а именно — «страхом», говоря грубо и прямо — тем особым сознанием долга и одержимостью чувством чести, о которых Ганс Касторп не раз пытался говорить с Сеттембрини и которое готов был признать до известной степени военной чертой.
910. Он был полон воодушевления, и интерес всей компании к антиномиям Нафты и Сеттембрини угас.
911. а Пеперкорн сопровождал импровизированный пир великой невнятицей слов или требовал, чтобы говорил Антон Карлович Ферге, этот добродушный страдалец, которому все возвышенное было совершенно чуждо; но он мог очень толково рассказать о выделке русских калош: к резиновой массе прибавляли серы и других веществ, и готовые, покрытые лаком калоши «вулканизировались» при температуре выше ста градусов. И о Полярном круге рассказывал он, так как служебные поездки не раз приводили его и в подобные места; о полуночном солнце и о вечной зиме на мысе Нордкап. Там, говорил он, причем двигались и его узловатое горло, и свисающие усы, пароход казался совсем крошечным в сравнении с

гигантскими скалами и бескрайней стальной поверхностью моря. А по небу стлались желтые пласты света, это было северное сияние, и ему, Антону Карловичу, все казалось призрачным, и пейзаж и он сам.

912. — А зачем? — отозвался он. — Писем я не пишу. Да и кому писать? Изредка отправишь открытку, и то оплаченную заранее. И кому бы я стал писать письма? У меня никого нет. У меня уже нет никакой связи с равниной, я потерял ее. В нашем сборнике народных песен есть такая песня: «Для мира я потерян». Так дело обстоит и со мной.
913. Папиросы у меня всегда есть. Их нужно иметь. Да и как обходиться без них? Не правда ли, если так подумать, то это называется страстью? Говоря откровенно, я человек не страстный, но и у меня бывают страсти, флегматические страсти.
914. — Меня необыкновенно успокаивает, — сказала она, выпуская дым вместе со словами, — ваше заявление, что вы человек не страстный. Да и как бы вы могли быть им? Вы оказались бы выродком, страсть — это значит жить ради самой жизни. А такие, как вы, живут ради переживаний. Страсть — это самозабвение. А ведь вы стремитесь только к самообогащению. *C'est ça*[239]. И вы даже не подозреваете, что это ужаснейший эгоизм и что вы, мужчины, в один прекрасный день окажетесь в положении врагов человечества!
915. Право же, это тема для спора между Нафтой и Сеттембрини. Она относится к области предметов чрезвычайно туманных. А живет ли человек ради себя или ради жизни, он сам не знает и никто не может знать точно и наверняка. Я хочу сказать, что границу тут установить трудно. Существует эгоистическая жертвенность и жертвенный эгоизм...
916. — О нет. Справедливость — это страсть флегматическая. Она противоположна ревности, которая, безусловно, делает флегматичных людей смешными.
917. — Видишь? Смешными. А поэтому предоставь мне мою флегму. Повторяю: как бы я обошелся без нее? Как бы я выдержал без нее, например, ожидание?
918. Словом, тебе, вероятно, неизвестно, что существует такая штука, как герметическая педагогика, это особая алхимия пресуществления, претворения, если выразиться точнее — более низкого в нечто более совершенное, в нечто, так сказать, — повышенного типа. Но ведь и сам материал должен быть таким, чтобы в результате воздействия извне и принуждения он мог подняться на более высокую ступень, в нем должны быть соответствующие задатки. А во мне, я это знаю твердо, такими задатками было то, что я издавна дружил с болезнью и смертью, и, будучи еще мальчиком, однажды потеряв голову, я попросил у тебя карандаш, а потом попросил вторично, в карнавальную ночь. Но безрассудная любовь гениальна, ибо смерть, нужно тебе сказать, это гениальный принцип, она *res bina, lapis philosophorum*, и она же — принцип педагогический, любовь к смерти рождает любовь к жизни, к человечеству; вот в чем суть, эта суть открылась мне, когда я лежал на моем балконе, и я теперь страшно рад, что могу тебе сказать об этом.
919. К жизни ведут два пути: первый — обычный, он прям и честен. Второй — опасен, он ведет дальше смерти, и это путь гениальности!
920. — А ты — философ-дуралей, — отозвалась она. — Не буду утверждать, что я все понимаю в этих твоих замысловатых немецких рассуждениях, но в твоих словах звучит что-то человеческое, и ты, безусловно, хороший мальчик. И потом, ты действительно вел себя *en philosophe*[244], в этом тебе не откажешь...
921. — Ах, Клавдия, почему бы и нет? По-моему, человеческое начинается именно там, где, по мнению людей не гениальных, оно кончается!
922. — А ты не глуп, — заметила она, и взгляд ее раскосых глаз стал задумчивым и неподвижным. — Ты умен. Страх за чувство.
923. — Да, ты должна была последовать за ним, чтобы это понять — особого ума не нужно...
924. — Конечно, нет, Клавдия. Нисколько. Мы говорим ведь просто, по-человечески! Ты очень любишь это слово и так мечтательно растягиваешь его, я всегда восхищаюсь, когда ты произносишь его. Мой кузен Иоахим не любил этого слова, он не признавал его как солдат. Он считал, что оно означает всеобщую расхлябанность и разболтанность; в этом смысле, как беспредельное *guazzabuglio* терпимости, оно тоже вызывает во мне сомнения, согласен. Но когда связываешь с ним гениальность и доброту, тогда оно приобретает особую

значительность, и мы спокойно можем употреблять его в нашем разговоре о Пеперкорне, о заботах и трудностях, которые он тебе доставляет.

925. — Безусловно, Клавдия. Очень хорошо сказано. И в унижении могут быть большие масштабы, и женщина может, с высоты своего унижения, разговаривать пренебрежительно с теми, у кого нет царственных масштабов
926. — Ты, кажется, несправим. Знаешь, что я тебе скажу? А ведь ты ужасно хитрый. Не знаю, умен ли ты; но хитер ты бесспорно. Впрочем, ничего, с этим можно еще примириться. И дружить можно. Давай будем друзьями, заключим союз за него, как обычно заключают против кого-нибудь. Согласен?
927. И тут она поцеловала его в губы. Это был особый русский поцелуй, каким в этой широкой и душевной стране люди обмениваются в дни торжественных христианских праздников, поцелуй, словно печать, скрепляющая любовь.
928. Но проводить в любви совершенно четкую грань между благоговейным чувством и страстным, значило бы, повторяя выражение Ганса Касторпа, выказать толстокожесть и даже враждебность жизни. Да и как понимать эту «четкость»? Что такое в данном случае «четкость»? Что такое зыбкость и двусмысленность? Нам просто становится смешно. Разве это не прекрасно и не возвышенно, что в языке существует одно слово для всего, что под ним разумеют, начиная от высшего молитвенного благоговения и кончая самым яростным желанием плоти? Тут полное единство смысла в двусмысленности, ибо не может любовь быть бесплотной даже при высшем благоговении, и не быть благоговейной — предельно плотская страсть; любовь всегда верна себе, и как лукавая жизнерадостность, и как возвышенный пафос страсти, ибо она — влечение к органическому началу, трогательное и сладострастное обнимание того, что обречено тлению, — *charitas* присутствует в самом высоком и в самом неистовом чувстве. Зыбкий смысл? Ради Бога! Пусть смысл любви будет зыбким! То, что он зыбкий, — естественно и человечно, и тревога в этом случае была бы признаком полного отсутствия всякой тонкости понимания.
929. Итак, в то время как губы Ганса Касторпа и мадам Шоша встречаются в русском поцелуе, мы погружаем во тьму наш маленький театр, чтобы переменить мизансцену. Ибо сейчас мы перейдем ко второму разговору, о котором обещали поведать, и снова включим свет: это тусклый свет уходящего весеннего дня, когда в горах уже началось таяние снегов. Мы видим нашего героя в ставшей для него привычной жизненной ситуации; он сидит у постели великого Пеперкорна и занят почтительно-дружеской беседой с больным.
930. Особенно если принять во внимание, насколько женщины — вы, может быть, улыбнетесь, что я, при своей молодости, позволяю себе какие-то обобщения, — насколько они, в своем отношении к мужчине, зависят от отношения мужчин к ним — тогда и удивляться нечему. Женщины, сказал бы я, создания, в которых очень сильны реакции, но они лишены самостоятельной инициативы, ленивы — в том смысле, что они пассивны. Разрешите мне, хоть и довольно неуклюже, развить дальше мою мысль. Женщина, насколько мне удалось заметить, считает себя в любовных делах прежде всего объектом, она предоставляет любви приблизиться к ней, она не выбирает свободно и становится выбирающим субъектом только на основе выбора мужчины; да и тогда, позвольте мне добавить, свобода выбора, — разумеется, если мужчина не слишком уж ничтожен, — не является необходимым условием; на свободу выбора оказывает влияние, женщину подкупает тот факт, что ее избрали. Боже мой, это, конечно, общие места, но когда ты молод, тебе, естественно, все кажется новым, новым и поразительным. Вы спрашиваете женщину: «Ты-то его любишь?» — «Но он так сильно любит меня», — отвечает она вам. И при этом или поднимает взор к небу, или опускает долу. А представьте-ка себе, что такой ответ дали бы мы, мужчины, — извините, что я обобщаю! Может быть, и есть мужчины, которые так бы и ответили, но они же будут просто смешны, эти герои находятся под башмаком любви, скажу я в эпиграмматическом стиле. Интересно знать, о каком самоуважении может идти речь у мужчины, дающего столь женский ответ. И считает ли женщина, что она должна откосяться с безграничной преданностью к мужчине, оттого что он, избрав ее, оказал

- милость столь низко стоящему созданию, или она видит в любви мужчины к своей особе верный знак его превосходства? В часы размышлений я не раз задавал себе этот вопрос.
931. — Вы затронули вашими меткими словечками исконные классические факты древности, некую священную данность, — сказал Пеперкорн. — Мужчину опьяняет желание, женщина требует, чтобы его желание опьяняло ее. Отсюда наша обязанность испытывать подлинное чувство, отсюда нестерпимый стыд за бесчувственность, за бессилие пробудить в женщине желание.
932. — Повторяю, — продолжал он, подняв копьевидный палец одной руки и держа стакан с вином в другой, слегка дрожащей руке, — повторяю: отсюда наши обязанности, наши религиозные обязанности по отношению к чувству. Наше чувство, понимаете ли, это та мужская сила, которая пробуждает жизнь. Жизнь дремлет, и она хочет, чтобы ее пробудили для хмельного венчания с божественной любовью. Ибо чувство любви, юноша, божественно. И поскольку человек любит, он тоже приобщается к божественному началу. Человек — это любовь Божия. Бог создал его, чтобы через него любить. Человек всего лишь орган, через который Бог сочетается браком с пробудившейся опьяненной жизнью. Если же человек оказывается неспособным на чувство, это поражение мужской силы божества, это космическая катастрофа, невыразимый ужас...
933. Если осмелюсь заметить, в ваших воззрениях есть известная доля ригоризма и, простите, что-то угнетающее! Ведь всякая религиозная суровость не может не действовать угнетающе на людей скромных масштабов.
934. И могу вас заверить, что его предубеждения, поскольку они существуют, лишены всего мелкого и мещанского — даже предположить это смешно. Здесь речь может идти только о предубеждениях, так сказать, большого стиля, а следовательно, величю характера, об общих педагогических принципах
935. Как могло случиться... что она, я ведь нездоров, что она сегодня после обеда отправилась вниз делать покупки одна, без провожатого... Беды тут нет! Никакой! Но, конечно, следовало... Не знаю, приписать ли мне влиянию — повторяю ваши слова — влиянию педагогических принципов синьора Сеттембрини, что вы не последовали рыцарскому побуждению... Прошу понять меня правильно...
936. — Дело обстоит тут не совсем обычно, — начал он с натянутой улыбкой. — У нас наверху нет таких условностей, сказал бы я. Все права на стороне больного, будь то женщина или мужчина. И рыцарские предписания отступают на второй план. Сейчас вы занемогли, мистер Пеперкорн, правда, это временное, и ваше недомоганье пройдет. Но ваша спутница сравнительно здорова. И мне кажется, я действую в духе мадам, если в ее отсутствие стараюсь по мере сил заменить ее, поскольку в данном случае можно говорить о замене. Ха-ха! Вместо того чтобы, наоборот, заменить вас при ней, предложив сопровождать ее вниз. Да и как дерзнул бы я навязать вашей спутнице мои рыцарские услуги? На это у меня нет ни прав, ни полномочий. Я очень хорошо разбираюсь в том, кто на что имеет право, смею вас уверить.
937. Признаюсь, я с удовольствием слушаю ваши бойкие речи, молодой человек. Вы перескакиваете через все трудности и так округляете их, что не к чему придраться.
938. Человек, высившийся над ним, тоже молчал. Пауза продолжалась две-три минуты, она дала обоим почувствовать, какую продолжительность могут приобретать в таких случаях столь крошечные единицы времени.
939. — Смешно, чего же я сию здесь как побитая собака! Разве я в чем-нибудь виноват перед ним? Ничуть.
940. — А она, — спросил Пеперкорн совсем тихо, — она разделяет и теперь еще эти чувства? — Я не могу утверждать, — ответил Ганс Касторп, — я не могу утверждать, что она когда-нибудь разделяла их. Это маловероятно. Мы с вами уже касались этого предмета чисто теоретически, когда говорили о том, что женская природа только реагирует на любовь мужчины. Меня, конечно, особенно любить не за что. Какие же у меня масштабы — сами посудите! И если дело могло все-таки дойти до... до двадцать девятого февраля, то это случилось лишь потому, что женщину подкупает, если на нее падает выбор мужчины,

- причем, должен добавить, я сам себе кажусь пошлым хвастуном, когда называю себя «мужчиной»; но уж Клавдия-то во всяком случае настоящая женщина.
941. Ведь речь идет о вещах очень человеческих, — человеческих в смысле свободы и гениальности, простите за такое, может быть, несколько выпященное выражение, но я за последнее время стал по необходимости пользоваться им.
942. — Ведь она же гениальное создание, — заговорил он опять, — и этот муж в Закавказье, — вы, вероятно, знаете, что у нее есть муж в Закавказье, — так вот, он предоставляет ей быть свободной и гениальной — то ли от глупости, то ли от интеллигентности, — сказать не берусь, я этого типа не знаю. Во всяком случае, правильно делает, что предоставляет, и то и другое ей все равно дает болезнь, гениальный принцип болезни, которому она подвластна, и каждый, кто попал бы в положение ее мужа, правильно сделает, последовав его примеру, и не будет жаловаться и заглядывать в прошлое или в будущее...
943. Это очень меня мучило, мучит и теперь, не отрицаю, и я нарочно опираюсь на положительную сторону всей этой истории, то есть на мое искреннее уважение к вам, мингер Пеперкорн, хотя, сознаюсь, в этом скрыт и некоторый подвох в отношении вашей спутницы; ведь женщинам не очень нравится, если их возлюбленные дружат между собой.
944. — Эту маленькую месть, — продолжал Ганс Касторп, — я мог себе в конце концов позволить
945. Я не военный, у меня была гражданская профессия, как вы, может быть, слышали, почтенная и разумная профессия, говорят, будто она даже способствует сближению между народами, но меня она никогда особенно не увлекала, сознаюсь в этом, о причинах своего равнодушия я могу только сказать, что они скрыты во мраке вместе с корнями моих чувств к вашей спутнице
946. не знаю точно, сколько времени я нахожусь тут, — я все забыл и со всеми порвал — с моими родными, с моей профессией там, на равнине, со всеми моими надеждами на будущее. И когда Клавдия уехала, я стал ждать ее, ждать, ждать здесь наверху, а теперь совсем отбилась от жизни внизу и для тамошних людей все равно, что умер.
947. нет ничего удивительного, если мне на первых порах такое обращение покажется чересчур необычным; прямо не знаю, как я выговорю это «ты», я, пожалуй, споткнусь — особенно в присутствии Клавдии, ведь ей, по ее женской природе, может быть, не очень понравится наше соглашение...
948. Я представляю себе, что сейчас мог бы вдруг войти Сеттембрини и включить свет, чтобы здесь воцарился разум и дух общности — есть у него такая слабость.
949. — Вы видели, как она издевалась над вами, — спросил он, — оттого что вам пришлось ехать со мной? Да, да, лежачего всегда бьют. А вам очень неприятно и противно сидеть рядом со мной? — Возьмите себя в руки, Везаль, и не говорите таких гадостей! — остановил его Ганс Касторп. — Женщины улыбаются по любому случаю, только бы улыбнуться, совершенно незачем всякий раз углубляться в это. И зачем вы всегда так унижаетесь? Как и у каждого, у вас есть свои достоинства и недостатки. Вот вы, например, очень мило играете отрывки из «Сна в летнюю ночь», это может не каждый. Вы бы опять как-нибудь поиграли.
950. — Понимает и слушает, видите, Касторп! Вот вам опять доказательство того, какое странное, какое особое место занимает в жизни эта сторона. Если бы я говорил об эпохе Возрождения или, ну там о... гидростатике, он бы ничего не понял, ничего не представлял бы себе и не стал бы прислушиваться и интересоваться. Темы непопулярные. Но высший, последний, до жути сокровенный вопрос вместе с тем и самый популярный, каждому он понятен
951. — Но ведь у человека есть же потребность, — жалобно возразил Везаль, — есть же потребность, милый Касторп, поговорить и облегчить душу, когда он вот так мучится. — Не только потребность, это, если хотите, даже его право, Везаль. И все же есть, по моему мнению, права, которыми в известных случаях благоразумнее не пользоваться.

952. даже беднягу Везалия похлопал по щеке, убеждая забыть свое несимпатичное «я» и отдаться восхищению сияющим миром природы, указывая при этом на широкую панораму гор плавными движениями правой руки в облезлой кожаной перчатке.
953. Что поделаешь? В таких вопросах решал он, ибо был повелителем и хозяином положения. И столь сильно было влияние его необычайной индивидуальности, что если бы даже не он явился, как обычно, инициатором прогулки и ее главой, все равно все подчинились бы его воле. Люди таких масштабов всегда были и будут тиранами и самодержцами. Мингер пожелал ужинать у самого водопада, под грохот вод, таков был его великодержавный каприз, и тем, кто не хотел остаться в стороне, пришлось покориться. Большинство были недовольны.
954. При укусе зубы слегка пружинят внутрь, это ясно, и надавливают на резервуар, содержащее резиновой железой поступает в каналы, и, в ту минуту, когда зубцы впиваются в тело, яд проникает в кровеносную систему. Кажется, проще простого, когда все устройство у вас перед глазами. Надо только догадаться. Вероятно, эта вещь сделана по его собственным указаниям.
955. — Это был человек таких масштабов, — продолжал Ганс Касторп, — что бессилие чувства перед жизнью казалось ему космической катастрофой и посрамлением. Ибо он считал себя, вы должны это знать, как бы орудием бракосочетания божества с миром... Этот вздор был его царственной причудой... — Когда человек потрясен, как был потрясен Ганс Касторп, он имеет мужество употреблять такие выражения, хотя они могут показаться слишком грубыми и кощунственными, но по сути они торжественнее, чем почтительные пошлости.
956. Ганс Касторп легким покачиванием головы вежливо выразил подобающее удивление.
957. — Да ведь это пока только гипотеза, — вяло отозвался Ганс Касторп. — Но гипотеза вполне доказуемая и в высшей степени плодотворная, — возразил гофрат.
958. Ганс Касторп смотрел вокруг себя... Он видел только страшное и злое и понимал, что он видит: это была жизнь без времени, жизнь без забот и без надежд, загнивающее и суетливое распутство, словом, мертвая жизнь.
959. Мы знаем, что он увлекался математикой, знаем от самого гофрата, известна нам также и стыдливая причина этой страсти; мы уже слышали похвалы ее целительному действию: занятия математикой якобы охлаждают жар в крови, притупляют жало чувственности, и если бы эти занятия были широко распространены, кое-какие меры, принятые совсем недавно, вероятно, оказались бы излишними.
960. провидение потому изъяло прокурора из мира живых внизу и поместило сюда наверх, что оно избрало именно его, Параванта, для совлечения этой трансцендентной проблемы с неба на землю, чтобы по-земному точно разрешить ее.
961. Короче говоря, план был хорош, против него нечего было возразить, и если в нем и чувствовалась какая-то жуткая бесцельность и нелепая мрачность, то причиной был именно тот извращенный фанатизм, с каким бывший художник отстаивал экономическую идею и только за нее и ратовал, причем в глубине души относился к ней, видимо, настолько несерьезно, что даже не делал никакой попытки ее осуществить...
962. Некоторые обитатели «Берггофа» изучали эсперанто и хвастливо пытались изъясняться за столом с помощью этой выдуманной тарабарщины.
963. Казалось невероятным, чтобы в таком простом занятии могло таиться очарование, способное прямо-таки приворожить человека. И все же Ганс Касторп, по примеру многих, испробовал на себе эту возможность забыться, но предавался раскладыванию пасьянсов, угрюмо насупившись, ибо распутство никогда не бывает веселым.
964. Сеттембрини взглянул на него грустными черными глазами, как посматривал частенько за эти годики.
965. — Меня очень тревожит международное положение, — вздохнул масон. — Балканский союз состоится, все полученные мною сведения подтверждают это. Россия развивает лихорадочную деятельность, острие всей этой комбинации направлено против Австро-Венгерской монархии, без ее разгрома нельзя осуществить ни одного пункта русской

- программы. Теперь вам понятны мои сомнения? Всеми силами души я ненавижу Вену, вы это знаете. Но неужели я должен из-за этого оказывать внутреннюю поддержку
966. Сарматской деспотии, которая намерена разжечь пожар войны на нашем благороднейшем континенте? А с другой стороны, хотя бы временное дипломатическое сотрудничество моей страны с Австрией я бы пережил как позор. Это такие вопросы совести, которые...
967. — *Placet expregiti*, — дерзко ответил Ганс Касторп, и Сеттембрини покинул его — после чего, однако, оставшись в одиночестве, молодой человек еще долго сидел за столом в своей белой комнате, подперев голову рукой, не касаясь карт; потрясенный до глубины души, он размышлял об угрожающем и двусмысленном положении, в котором, по его мнению, оказался мир, и о той отвратительной ухмылке злого духа и обезьяньего бога, чьей слепой, необузданной власти подпали люди и чье имя было «демон тупоумия»! Дурное, апокалипсическое имя, прямо предназначенное для того, чтобы порождать тревогу. Ганс Касторп сидел и тер себе ладонью лоб и грудь. Его охватил страх. Ему чудилось, что «все это» добром не кончится, завершится катастрофой, восстанием долготерпеливой природы, громом и молнией, очистительным ураганом, который разрушит сковавшее мир колдовство, сорвет жизнь с «мертвой точки» и уготовит всякому застою и мертвечине Страшный суд.
968. Судорожно моргая и слегка побледнев, смотрел он с восхищением на великолепный, дающий ему жизнь рубиновый сок, который быстро наполнял прозрачный сосуд.
969. Конечно нет, упрямыться Касторп не будет. И он согласился пройти курс лечения, хотя считал его смехотворным и унижительным. Эти прививки себя самому себе казались ему каким-то отвратительным и унылым извращением, какой-то кровосмесительной гадостью, сочетанием себя с собой, по существу бесплодным и безнадежным.
970. Немецкого производства, знаете ли. Мы делаем такие вещи лучше всех. Верность музыкальному началу в современной механизированной форме. Немецкая душа *up to date*[256]. А вот вам и литература! — закончил он, указывая на стенной шкафчик, в котором стояли рядами толстые альбомы. — Я передаю вам это сокровище, наслаждайтесь сколько угодно, но я оставляю его под защитой публики. Хотите попробуем, пусть прогремит какая-нибудь пластинка.
971. Затем оттеснил их от аппарата, и они равнодушно уступили, во-первых, потому, что он имел такой вид, будто давно уж умеет обращаться с граммофоном, и во-вторых, слишком мало интересовались тем, кто именно управляет источником их удовольствия, и предпочитали, чтобы им доставляли его без всяких хлопот и обязательств, пока оно не надоест.
972. и не только песни, которые являлись высокохудожественными созданиями индивидуальной творческой мысли отдельных композиторов, но и скромные народные песни, и, наконец, произведения, которые стояли как бы между этими двумя жанрами, ибо, хотя и были созданиями одухотворенного искусства, автор переживал их и творил на основе подлинного благоговейного проникновения в дух и душу народа; мы разумеем, так сказать, искусственные народные песни, причем слово «искусственные» ни в какой мере не должно умалять их задушевности
973. тут был и юг, с особой красотой его порывов, полных благородства и вместе с тем беспечности, и Германия, с присущим ее национальному духу лукавством и демонизмом, и французская опера, с ее величием и комедийностью.
974. Им такое признание ничего не стоило: ведь когда обожаемый тенор, даря миру счастье, блистал и таял, изливаясь в кантиленах и виртуозно изображая страсть, эти люди, несмотря на свое легковесное восхищение и свой шумно выражаемый восторг, любви к музыке не чувствовали и были готовы уступить заботу о доставляемом им удовольствии кому угодно.
975. Да и что делали бы другие? Они оскверняли бы пластинки, царапая их использованными иглами, забывали бы их на стульях, издевались бы над аппаратом, заставляя благородное произведение искусства вертеться со скоростью и высотой звука в сто десять оборотов, или ставили бы указатель на ноль, так что слышно было бы только истерическое попискивание или глухое стенание. Ведь он уже знал их. Правда, они были больны, но,

кроме того, они были грубы. Поэтому Ганс Касторп вскоре стал носить ключ от шкафчика, где хранились иглы и альбомы, просто в кармане, и, если людям хотелось послушать музыку, приходилось звать его.

976. Этих певцов и певиц он не видел, ибо их человеческая плоть находилась в Америке, в Милане, в Вене, в Санкт-Петербурге. Ну и пусть себе там находятся, — ведь он получал лучшее, что в них было — их голос; и он ценил эти как бы очищенные, абстрагированные голоса, остававшиеся все же в достаточной мере чувственными, чтобы, поскольку дело касалось хотя бы его соотечественников немцев, дать ему возможность, исключив все невыгоды личной близости, по-настоящему, по-человечески оценить их качества.
977. Он страдал от стыда и кусал себе губы, если открывал недостатки в технике исполнения, сидел точно на иголках, когда в особенно популярной песне какая-нибудь нота звучала резко или крикливо, что особенно часто случалось с не устойчивыми женскими голосами. Но он с этим мирился, ибо любви суждено страдать.
978. Ганс Касторп, будучи человеком образованным, знал сюжет оперы и в общих чертах был знаком с судьбой Радамеса, Амнерис и Аиды, певших ему по-итальянски из шкапулки; поэтому он более или менее понимал, что они поют — этот несравненный тенор, это царственное контральто с роскошными модуляциями в середине диапазона и серебряное сопрано, — понимал, конечно, не каждое слово, а кое-что, то там, то здесь, благодаря своему знанию фабулы, своим симпатиям к данной ситуации и тайному сочувствию героям, которое, чем чаще он ставил эти четыре-пять пластинок, тем все более росло и постепенно превратилось в настоящую влюбленность.
979. он, ради рабыни из варварской страны, пожертвовал родиной и честью; впрочем, по его словам, «в глубинах сердца честь осталась незадетой». Однако эта незатронутость самого сокровенного, при всей тяжести его вины, мало помогла ему
980. сложив руки, смотрел на маленькие черные жалюзи между планками, среди которых все это расцветало, сильнее всего он чувствовал и постигал всепобеждающую идеальность музыки, искусства, человеческой души, и его больше всего радовала их высокая и неотразимая красота, которая облагораживала низменные и отвратительные явления действительности. Ведь достаточно было посмотреть трезвым взглядом на то, что здесь совершалось: двум заживо погребенным созданиям предстояло, задыхаясь в духоте могилы, умереть от мук голода вместе или, что еще хуже, одному за другим, а затем над их телами разложение должно было начать свое невыразимое дело, пока под сводами не останутся два скелета, и каждый из них будет совершенно равнодушен и нечувствителен к тому, лежит ли он один, или вдвоем. Такова была реальная, фактическая сторона событий — особая их сторона, особое свойство, но эту сторону идеализм сердца вообще не принимал в расчет, а дух музыки и красоты победоносно отодвигал в тень. Для оперных душ Радамеса и Аиды реально предстоявшей им участи просто не существовало. Их голоса взлетали в унисон к блаженному звучанию октавы, уверяя, что теперь им открылись небеса и их любовное томление озарено светом вечности. Сила этого приукрашивания действовала на слушателя крайне благотворно, утешала его и способствовала тому, что этот номер его постоянной программы стал ему особенно дорог.
981. И воображением Ганса Касторпа, когда он слушал эту вещь, овладевала всегда одна и та же греза: перед ним — заросшая пестрыми астрами, залитая солнцем лесная полянка; он лежит на спине, под головой небольшой холмик, одну ногу он поставил стоймя и слегка согнул в колене, другую перекинул через нее, — однако ноги у него не человечески, это ноги фавна. Лишь для собственного удовольствия, ибо полянка совершенно пустынна, перебирает он лады деревянной дудочки, которую держит во рту
982. в него быстро, один за другим, вступают все новые, все более высокие инструментальные голоса, и тогда уже, себя не сдерживая, оно разражается всей своей полнотой — пусть лишь на беглый миг, но эта полнота дает блаженство совершенного удовлетворения, ибо оно несет в себе вечность.
983. Молодой фавн был очень счастлив на своей летней полянке. Здесь не требовали никакого «оправдайся!», не возлагали никакой ответственности, никакой военно-духовный суд не

угрожал тому, кто забыл честь и потерял себя. Здесь царило великое забвение, блаженная неподвижность, невинность безвременности; это была распушенность, но без всяких угрызений совести, полное отрицание западного приказа быть активным, воплощенный в образах, желанный апофеоз этого отрицания, почему исходившее от пластинки успокоение и заставляло ночного музыканта предпочитать ее многим другим.

984. Это же звуки труб, они призывают его. «Призыв трубы нам зорю возвещает!» — по-оперному торжественно поет он. Однако цыганке этого не понять, да она и не хочет понимать.
985. Сигнал этот — нечто священное, категорическое, как она не может понять?!
986. Мучительное положение! Она не понимает. Женщина, цыганка, не могла и не желала его понять. Главное — не желала, ибо, несомненно, в ее ярости, в ее насмешках ощущалось нечто выходящее за пределы данной минуты, за пределы личного, в них ощущалась ненависть, исконная вражда к принципу, который этими французскими *clairons* или испанскими рожками призывал к покорности влюбленного солдата и победа над которым была вопросом ее высшего, врожденного и сверхличного честолюбия.
987. Вот все относительно этой песни и ее исполнения. Мы льстим себя надеждой, что раньше нам удавалось вызвать в наших читателях известное понимание тех глубоко интимных сопереживаний, которые рождали в Гансе Касторпе излюбленные номера его ночной программы. Но объяснить, что значила для него эта песня, эта старинная песня о липе, — задача весьма деликатная, и, приступая к ее разрешению, необходимо соблюдать величайшую сдержанность в интонации, иначе можно скорее напортить, чем помочь.
988. Скажем так: духовное, то есть значительное, явление «значительно» именно потому, что оно выходит за свои пределы, служит выражением и символом чего-то духовно более широкого и общего, целого мира чувств и мыслей, которые, с большим или меньшим совершенством, в нем воплотились — этим и определяется степень его значительности. Любовь к такому явлению тоже «значительна». Она говорит нам кое-что и о человеке, испытывающем ее, о его отношении к тому общему, к тому миру, который отражен в данном явлении и который этому человеку, сознательно или бессознательно, тоже дорог.
989. Однако именно данная судьба привела его к внутреннему росту, к необычным событиям, вызвала минуты самопознания, поставила перед ним проблемы «правления», что, в свою очередь, сделало его зрелым для проникновенной критики этого особого мира и его образа, конечно, достойного беспредельного восхищения, а также своей любви к нему, и побудило все это подвергнуть сомнениям совести
990. Однако тот, кто решил бы, что такие сомнения могут умалить любовь, решительно ничего не понимает в любви. Эти сомнения придают ей, наоборот, особую остроту. Они-то и пробуждают жало страсти, почему страсть можно было бы даже определить как «сомневающуюся любовь». В чем же заключались сомнения, тревожившие Ганса Касторпа как «правителя», его совесть и нравственность, и ставившие под вопрос дозволенность его любви к волшебной песне и связанным с нею миром? И что это за мир, который, как подсказывали ему предчувствия совести, должен быть миром запретной любви? То была смерть. Но ведь это же явное безумие! Такая великолепная песня! Настоящий шедевр, рожденный из последних и священных глубин народной души; неоценимое сокровище, прообраз душевности, воплощение прелести! Какая недостойная клевета! Да, да, да, все это чудесно, так сказал бы, вероятно, каждый порядочный человек. И все же за этим прекрасным произведением стояла смерть. Эту связь со смертью можно было любить, но, ощущая себя «правителем», нельзя было не предчувствовать, не отдавать себе отчет в известной недозволённости такой любви. По своей собственной первоначальной сути эта песня могла и не таить в себе симпатии к смерти, а напротив — нечто глубоко народное, полное жизненных сил, но духовная симпатия к ней была симпатией к смерти; чистое благоговение, само простодушие, лежавшее в основе этой песни, — их, конечно, ни в какой мере нельзя было оспаривать; но их результатом, их следствием были явления мрака.
991. Это был живой плод, но порожденный смертью и несущий в себе смерть. Это было чудо души — может быть, высшее перед лицом красоты, лишенной совести и давшей ему свое

благословение; и все же, с точки зрения ответственно правящей любви к жизни и к органическому началу, на это чудо следует смотреть с вполне законным недоверием и в согласии с окончательным приговором совести считать, что в отношении к нему надо преодолеть себя.

992. в них речь шла теперь о неразгаданных странностях сомнамбулизма и гипнотизма, о телепатии, вещих снах, ясновидении, о чудесах истерии; при обсуждении всего этого философские горизонты настолько расширились, что перед слушателями вдруг вспыхивали такие загадки, как связь между материей и психикой, и даже загадки относительно сущности самой жизни, приблизиться к решению которых, оказывается, можно было скорее дорогами жути и болезни, чем здоровья...
993. Он и раньше занимался изучением загадочных, неизведанных областей человеческой души, которые называют подсознанием, хотя, может быть, правильнее было бы назвать его сверхсознанием, ибо именно из этих сфер порою возникает знание, неизмеримо превосходящее то, которое содержится в обычном круге сознания отдельной человеческой личности, почему и напрашивается мысль, что, быть может, между глубинными, погруженными во мрак пластами индивидуальной души и обладающей всеведеньем общей душой должны существовать соотношения и связи. Сфера подсознания, «окультурная» в широком значении этого слова, вскоре оказывается оккультной и в более тесном смысле и служит одним из источников для тех феноменов, которые мы так называем за отсутствием лучшего обозначения.
994. Более того: тот, кто видит в физическом симптоме болезни результат изгнания из сознательной душевной жизни истеризированных аффектов, вынужден признать творческую силу психического начала по отношению к материальному, — силу, в которой нельзя не видеть второй источник магических явлений: идеалист патологии, чтобы не сказать — патологический идеалист, поневоле окажется в исходной точке определенной цепи, звенья которой очень скоро приведут его к проблеме бытия, иными словами — к проблеме взаимоотношений между материей и духом. Материалист, опирающийся лишь на философию ядерного здоровья, непременно будет утверждать, что духовное — всего лишь фосфоресцирующий продукт материального. Идеалист же, исходящий из принципа творческой истеричности, будет склоняться к тому, а вскоре и настаивать на том, что вопрос о примате тела или духа следует решить совсем наоборот. В общем, перед нами опять не больше не меньше, как исконный спор о том, что было раньше — курица или яйцо, причем вопрос особенно осложняется тем, что нельзя представить себе яйцо, которое бы не снесла курица, и нельзя представить себе курицу, предварительно не допустив существование яйца, из которого она вылупилась.
995. Да, ей словно кто-то нашептывает на ухо, говорила Элли. Нашептывает, что надо сделать, — тихо, но вполне ясно и отчетливо.
996. Это было явное признание. Элли в каком-то смысле чувствовала себя виноватой — она ведь обманывала. Надо было сказать заранее, что она для такой игры не годится, ведь ей всё нашептывают. А любое состязание теряет всякий человеческий смысл, если один из конкурентов обладает сверхъестественными преимуществами.
997. инфернальные способности Элли Бранд и вызывали в нем любопытство, — любопытство, таившее в себе предощущение своей полной бесплодности, сознание недоступности той духовной области, которую оно искало оцупью, а отсюда и сомнение — только ли оно праздное, или к тому же еще и греховное; впрочем, это не мешало ему оставаться тем, чем оно было, — а именно любопытством.
998. Но с этим миром, существование которого Ганс Касторп готов был теоретически и совершенно беспристрастно допустить, он еще никогда так близко не сталкивался, никогда практически не познавал его на опыте и теперь противился такому опыту, не принимал его с точки зрения хорошего вкуса, эстетики, человеческой гордости — если будет дозволено выразиться так высокопарно в отношении нашего скромного героя, и это неприятие было почти столь же сильно, как и волновавшее его любопытство. Он предчувствовал заранее, совершенно ясно и определенно, что этот опыт, как бы он ни разворачивался, всегда

останется чем-то безвкусным, невнятным и унижающим человеческое достоинство. И все же он жаждал его изведать.

999. Доктор Кроковский строго запретил устраивать в дальнейшем любительские эксперименты, связанные с оккультными способностями фрейлейн Бранд. Он как бы конфисковал девушку для научных исследований, проводил с ней сеансы в своем психоаналитическом кабинете, гипнотизировал ее и, как ходили слухи, старался развить дремлющие в ней способности, изучить ее прежнюю душевную жизнь. Впрочем, то же самое делала и Гермина Клефельд, по-матерински опекавшая ее приятельница и патронесса, она многое выведала у Элли под страшным секретом и под таким же страшным секретом распространяла по всему санаторию, вплоть до комнаты консьержа. Она узнала, например, что тот или то, что во время игры подсказывало девушке придуманное остальными задание, называлось Холгер — это был некий юноша Холгер, хорошо знакомый ей spirit[263], существо, ушедшее в иной эфирный мир, что-то вроде духа-хранителя юной Элли. Значит, это он открыл ей то, что остальные задумали относительно щепотки соли и игры на рояле указательным пальцем Параванта? Да, он шепнул ей это на ухо, касаясь призрачными губами, так что стало щекотно и захотелось улыбнуться. Вероятно, ей бывало очень приятно, когда она еще училась в школе, и он подсказывал ей ответ, если она не знала урока? Но Элли промолчала. Должно быть, этого Холгеру не разрешалось делать, ответила она потом. В такие серьезные дела ему запрещено вмешиваться, да он и сам, должно быть, хорошенько не знал школьных ответов.
1000. совершенно бессознательных и полуосознанных, вольного и невольного желания отдельных участников подтолкнуть бокал, а также согласия темных пластов всеобщей души на какое-то тайное сотрудничество, как будто ради совершенно чуждых ей целей, — сотрудничество, в котором в той или иной мере участвовали бы неведомые глубины каждой отдельной личности, и, вероятно, больше всего глубины прелестной юной Элли.
1001. они жаждали тех полупризрачных или полуматериальных явлений, которые называются магическими.
1002. — Красивые темные, темные кудри, — отвечивал бокал, причем даже два раза набрал слово «темные». Присутствующие развеселились. Дамы стали открыто выказывать свою влюбленность. Они посылали в угол потолка воздушные поцелуи. Доктор Тин-фу, хихикая, заметил, что мистер Холгер, вероятно, очень тщеславен.
1003. Так же беззвучно бежит песок сквозь узкое горло песочных часов — строгий и хрупкий прибор, украшающий келью отшельника. Раскрыта книга, череп на столе, а на подставке, в легкой раме, двойной пузырь из дутого стекла, в нем горсть песка, он взят у вечности, и он течет, как и ее пугающее тайной святое существо, когда его вперед торопит время...
1004. Его любопытство было пока удовлетворено; стихи Холгера в ту минуту показались ему не такими уж плохими; но, как и следовало ожидать, внутренняя, безнадежная беспомощность и банальность всего стихотворения в целом были настолько явны и очевидны, что он решил пока удовольствоваться теми немногими вспышками адского пламени, которые обожгли его.
1005. Когда Ганс Касторп рассказал Сеттембрини о пережитом и о своем намерении в сеансах больше не участвовать, тот, разумеется, изо всех сил постарался укрепить его в этом намерении. «Только этого не хватало! — воскликнул итальянец. — Позор! Позор!» — и решительно заявил, что маленькая Элли — бессовестная обманщица. Его воспитанник не сказал ни да, ни нет. Что такое реальность, заметил он, пожав плечами, вполне точно и недвусмысленно еще не выяснено, поэтому нельзя определить и что такое обман. Может быть, разделяющая их граница неустойчива. Может быть, между ними есть переходы, и в природе, не ведающей ни терминов, ни ценностей, существуют различные степени реальности, и они не поддаются такому определению, в котором моральный момент должен играть весьма существенную роль. А как относится господин Сеттембрини к выражениям «иллюзия», «отвод глаз»? Они знаменуют сочетание сновидений и реальности, быть может, менее чуждое природе, чем нашему грубому дневному мышлению! Ведь тайна жизни в буквальном смысле слова бездонна, поэтому

неудивительно, если оттуда, при случае, на поверхность всплывают разные формы «отвода глаз», которые... и так далее, продолжал наш герой в своей обычной скептической манере, притом готовый любезно соглашаться решительно со всем.

1006. — Уважайте в себе человека, инженер! — потребовал он. — Доверяйте только ясному человеческому мышлению и бегите от всяких вывихов нашего мозга и засасывающего духовного болота! Отвод глаз? Тайны жизни? Caro mio![264] Если моральное мужество разлагается, пускаясь в определения и разделения таких вещей, как реальность и обман, тогда конец всему — жизни вообще, суждению, ценностям, активному совершенствованию, тогда начинается порожденный скепсисом гнусный процесс морального распада. Человек — мера всех вещей, — добавил он. — Его право составлять себе суждение о добре и зле, реальности и обмане — неотъемлемо, и горе тому, кто осмелится поколебать его веру в это творческое право! Лучше будет, если ему повесят на шею жернов и утопят в глубоком колодце.
1007. Отобрав из фонда ряд пластинок, он составил для нужд кружка целый альбом, куда входила только легкая музыка — танцы, небольшие увертюры и прочая чепуха, которая вполне отвечала своему назначению, ибо Элли отнюдь не требовала более возвышенной музыки.
1008. В своих лекциях и частных беседах он называл эти явления «телекинетическими», или случаями действия на расстоянии, и относил их к числу феноменов, которые наука назвала «материализацией», — на них-то, в его опытах с Элли, и были устремлены все его мысли и чувства. Говоря его языком, тут имела место биопсихическая проекция подсознательных комплексов на объективный мир, происходили процессы, источником которых следует считать особую конституцию медиума и его сомнамбулическое состояние; их можно рассматривать как обьективированные сновидения, поскольку в них проявляются идеопластические силы природы и присущая мысли способность притягивать к себе материю, запечатлевая в ней некую эфемерную реальность. Эта материя «истекала» из тела медиума и мимоходом принимала формы его биологически-живых конечностей, хватательных органов, рук, они-то и выполняли те ошеломляющие мелкие действия, свидетелями которых были участники сеансов в лаборатории доктора Кроковского. При известных условиях они становились видимы и осязаемы. Эти конечности и их формы можно было сохранить в парафине и гипсе. Но в дальнейшем дело этим не ограничивалось. Головы, индивидуальные человеческие лица, фантомы во весь рост материализовались на глазах производящих опыты и вступали с ними в ограниченное общение... Однако тут теории Кроковского уходили куда-то в сторону, они начинали косить и становились такими же зыбкими и двусмысленными, как, впрочем, и его рассуждения о «любви». Ибо дальше речь шла уже не об отражениях в мире действительности субъективных переживаний медиума и его пассивных помощников; объяснения Кроковского теряли свою четкость и наукообразность, в них начинали фигурировать, хотя бы отчасти, хотя бы только в некоторых случаях, уже не только присутствующие, а какие-то индивидуальности, введенные извне, из потустороннего мира; может быть, Кроковский не хотел признать в полной мере, что на этих сеансах допускалось появление чего-то неживого, каких-то существ, использующих эту сомнительную, но втайне благоприятную минуту, чтобы возвратиться в материю и подать голос тем, кто призывал их, — словом, имелось в виду спиритическое вызывание умерших.
1009. И, судя по доходившим до Ганса Касторпа слухам, благодаря исключительным способностям Эллиен Бранд, о развитии и обработке которых он так хлопотал, ему улыбнулся успех. Некоторые участники сеансов чувствовали прикосновение материализованных рук. Прокурору Параванту дали из трансцендентного мира основательную пощечину, он с чисто научной бодростью констатировал это и даже из любознательности подставил другую щеку — хотя в качестве кавалера, юриста и бывшего корпоранта вынужден был бы вести себя совершенно иначе, если бы пощечина исходила от обычного земного существа. А. К. Ферге, этому скромному страдальцу, которому все возвышенное было чуждо, скромному Ферге довелось однажды вечером держать в своей

- руке такую призрачную конечность и установить путем осязания естественность и убедительность ее строения, причем трудно описать как, но она вырвалась, хотя его сердечное пожатие оставалось в строгих границах почтительности.
1010. Как связать, подумал Ганс Касторп, эту благородную печаль Холгера с его озорством, с пошлым ребячеством, с неумными мальчишескими проделками и с отнюдь не меланхоличной оплеухой, которую он закатил прокурору? Последовательности и цельности натуры здесь, видимо, ждуть нечего. Может быть, мы имеем дело с таким же характером, как у горбатого человека из песенки, который жалобно и ехидно горюет и требует, чтобы за него заступились?
1011. В ту минуту, когда он принимал решение, мы заставили его восстановить в своей памяти эпизод в рентгеновском кабинете, но этой связи совершенно недостаточно, чтобы охарактеризовать состояние его души.
1012. Доктор Кроковский посвятил несколько слов этому освещению, извинившись за его научные несовершенства. Он вовсе не намерен с его помощью мистифицировать собравшихся или создавать какое-то особое настроение, — избави Боже! — но усилить свет при всем желании пока невозможно. Уж такова природа тех сил, которые должны здесь действовать и изучаться: при обычном белом свете они не могут ни развиваться, ни проявить себя.
1013. и все-таки возврат умерших, то есть желательность такого возврата, был и остается делом темным и щекотливым. Ведь, в сущности и говоря по правде, желательность эта весьма сомнительна; она — заблуждение, она, если призадуматься, так же нереальна, как и само возвращение, что мы и обнаружили бы, если бы природа сделала возвращение возможным: а наша скорбь — быть может, не столько боль от того, что нельзя снова увидеть наших покойников живыми, сколько от того, что мы и желать-то этого не можем.
1014. Все смутно ощущали это, и хотя вопрос шел не о настоящем, фактическом возвращении к жизни, а о чисто сентиментальном и театральном зрелище, при котором предстояло лишь увидеть покойного, и это было для жизни безопасно, все же они страшились облика того, о ком думали, и каждый с удовольствием переуступил бы соседу свое право назвать имя ушедшего.
1015. и сам доктор Кроковский кивнул с довольным видом, хотя всегда относился к Иоахиму холодно, так как тот в вопросе о психоанализе воздействию не поддавался.
1016. усилия Элли фактически так убедительно, так недвусмысленно напоминали родовые схватки, что об этом не мог не догадаться даже тот, кто еще никогда с ними не сталкивался, как, например, молодой Ганс Касторп; но и он отдал дань жизни и узнал этот акт, полный мистики органической жизни, узнал в данном образе — да еще в каком!
1017. Мистика и благоговение? О нет, в красном сумраке, к которому глаза настолько привыкли, что могли разглядеть эту комнату почти во всех подробностях, стоял шум и царила пошлость. Музыка и громкие возгласы напоминали кликушеские приемы Армии спасения, напоминали даже Гансу Касторпу, который никогда не присутствовал на бдении этих неистовствующих фанатиков. Эта сцена не вызывала в душе ничего мистического и таинственного, не будила в зрителе благоговейных чувств, Ганс Касторп не ждал ничего потустороннего; благодаря более интимным и сходным с родами явлениям, о которых мы уже упоминали, все происходившее говорило лишь о природном, об органическом начале.
1018. Еще рано отчаиваться и думать, будто ничего не выйдет. Есть целый ряд признаков, показывающих, что малодушничать преждевременно. Сидевшие на том конце полукруга, рядом с доктором, в один голос уверяли, будто несколько раз совершенно ясно чувствовали то холодное дуновение, которое идет от медиума в определенную сторону, перед тем как начинаются феномены. Другие будто бы видели на фоне ширмы световые явления, белые пятна, блуждающие скопления силы. Короче говоря — не отступать! Не предаваться унынию! Холгер дал слово, и никто не имеет права сомневаться в том, что он сдержит его.
1019. В чем же дело? Что носилось в воздухе? Жажда раздоров, придирчивость и раздражительность, возмутительная нетерпимость. Какая-то общая склонность к ядовитым пререканиям, к вспышкам ярости, даже дракам. Ожесточенные споры, крикливые

перебранки вспыхивали каждый день между отдельными людьми и целыми группами, причем характерно было то, что состояние людей, поддавшихся этим приступам, отнюдь не отталкивало лиц, явно незаинтересованных, они не только не выступали в роли посредников, а с азартом вмешивались в перепалку, и их души заражались тем же угаром. Они бледнели и вздрагивали. Они таращили сверкающие глаза, их рты судорожно кривились. Иные завидовали тем, кто активно отстаивал свое право на крик и свои основания для ссор, их терзала жажда подражать крикунам, она мучила их души и тела, и тот, кто не имел сил бежать в одиночество, неминуемо втягивался в этот водоворот. Эти вздорные конфликты, взаимные обвинения, свары, разгоравшиеся в присутствии начальства, которое старалось всех утихомирить, но с пугающей легкостью само переходило к рычанию и грубостям, — эти инциденты все учащались в санатории «Берггоф», и тот, кто покидал его на некоторое время в сравнительно здоровом душевном состоянии, не знал, в каком он вернется. Одна дама, сидевшая за «хорошим» русским столом, очень элегантная провинциалка из Минска, еще молодая и с легким заболеванием — ей предписали пробыть здесь три месяца, не больше — отправилась однажды вниз, в курорт, во французский магазин мод. И так разругалась с продавщицей, что возвратилась домой страшно взволнованная, у нее хлынула горлом кровь, и с тех пор болезнь перешла в стадию неизлечимости. Вызвали мужа и заявили ему, что ей придется остаться здесь навсегда.

1020. Проклятая калека... — завопил он вдруг, словно сбросив последнюю узду и с восторгом прорвавшись на простор безграничного исступления. При этом он занес кулаки над Эмеренцией и в буквальном смысле слова показал ей зубы, покрытые пеной. Потом продолжал колотить кулаками, топать и реветь: «Желаю!», «Не желаю!» — а в зале происходило то, что всегда происходит в таких случаях. Бушующий школьник вызвал какое-то звериное судорожное сочувствие. Одни вскочили и смотрели на него, тоже сжимая кулаки, стиснув зубы и сверкая глазами. Другие сидели, побелев, опустив взгляд, охваченные дрожью. И они все еще дрожали, когда школьник уже в изнеможении сидел перед другой чашкой чая, не прикасаясь к ней.
1021. Этот человек был врагом евреев, антисемитом, и принципиально и из спортивного интереса он исповедовал избранные им взгляды с каким-то веселым исступлением, это отрицание являлось гордостью и содержанием его жизни. Когда-то он был коммерсантом, теперь он уже не был им, он был ничем, но ненавистником евреев остался. Человек этот был очень серьезно болен, его то и дело сотрясал хриплый кашель, а иногда он как будто чихал легкими — один раз, визгливо, отрывисто, зловеще. А все-таки он не был евреем — и в этом состояла его единственная гордость. Он носил фамилию Видеман, христианская фамилия, не какая-нибудь нечистая, он выписывал журнал под названием «Арийский светоч» и вел, например, такого рода разговоры: — Приезжаю я в санаторий Икс в А..., только собираюсь устроиться в галерее для лежания — и кого же я вижу слева от себя на шезлонге? Господина Гирша! А кто справа? Господин Вольф! Само собой разумеется, я сейчас же уехал... — и так далее. «Так тебе и надо!» — с отвращением подумал Ганс Касторп.
1022. У Видемана был уклончивый подстерегающий взгляд. Возникало буквально такое впечатление, как будто перед самым его носом висит его «пунктик». Видеман злобно на него косится и из-за него ничего не видит. Владеющая им навязчивая идея постепенно довела его до какого-то зудящего недоверия, до маниакальной жажды преследовать, и как только ему казалось, будто подле него таится или прячется под личиной что-то нечистое, он сейчас же выволакивал это на свет и поносил. Где только мог, он язвил, порочил, злопыхательствовал. Словом, единственным содержанием его жизни стало клеймить всех тех, кто не обладал его единственным преимуществом.
1023. Эти внутренние причины, о которых мы только что говорили, чрезвычайно ухудшали его болезнь
1024. Ибо здесь находился еще один больной — но разоблачать тут было нечего, все и так было ясно. Он носил фамилию Зонненшейн, и так как трудно было найти фамилию менее

удачную, то особа Зонненшейна с первого же дня стала тем пунктиком, который болтался перед носом Видемана; он то и дело злобно покашивался на него и бил по нему рукой, пожалуй, не столько чтобы отогнать, но чтобы заставить раскачиваться, так как это еще больше раздражало его.

1025. Они же считают для себя невозможным вести дело чести против лица, стоящего вне понятия чести, а также выступать в нем посредниками.
1026. Гг. Казимир Яполь и Януш-Теофиль Ленарт вели себя во время указанных действий вполне пассивно.
1027. Узнав о безупречном соблюдении кодекса чести, с одной стороны, и о позорной и вялой реакции на бесчестие, с другой, — а это становилось совершенно ясным из чтения протоколов, — он был глубоко взволнован хоть и далекой от жизни, но поразительной противоположностью в поведении противников.
1028. Сеттембрини, как человека, живо связанного с действительностью, угнетало сознание, что, несмотря на временно наступавшее обманчивое улучшение его здоровья, ему, в общем, становилось все хуже; он проклинал болезнь, угрюмо стыдился ее и презирал себя, и все же она вынуждала его за последнее время через каждые два-три дня прибегать к постельному режиму.
1029. Не лучше чувствовал себя и Нафта, его сосед и противник. И в его организме прогрессировала болезнь, послужившая физической причиной, или, вернее, поводом, для того, чтобы его карьера, как члена иезуитского ордена, столь преждевременно оборвалась; даже в условиях горного разреженного воздуха, в которых он жил, нельзя было предотвратить развитие недуга. Он тоже проводил нередко целые дни в постели, и когда говорил, его надтреснутый голос все чаще срывался, а говорил он при повышавшейся температуре еще больше, становился все многословнее, резче и язвительнее. Но та борьба против болезни и смерти, которую вел с помощью идей Сеттембрини, и его горе оттого, что презренная природа побеждает, видимо, были чужды недомерку Нафте, и ухудшение его физического состояния вызывало в нем не печаль, а насмешливую воинственность и неудержимую страсть к спорам, жажду все ставить под сомнение, все опровергать и отрицать, сбивая собеседника с толку, а это непрестанно усиливало и без того тяжелую меланхолию итальянца. Со дня на день обострялись их теоретические схватки. Конечно, даже Ганс Касторп мог судить только о тех, которые происходили при нем. Но он был почти уверен, что не пропустил ни одной, ибо его присутствие как педагогического объекта, казалось, было необходимо для столь важных коллоквиумов. И если он не мог не огорчать Сеттембрини, считая речи Нафты достойными того, чтобы их послушать, все же он вынужден был признать, что Нафта уже не знает меры и подчас переходит все границы здравого смысла.
1030. У этого больного не хватало сил или доброй воли подняться над болезнью, для него весь мир стоял под ее знаком, он видел все в ее мрачном свете. К глубокому негодованию Сеттембрини, который охотно выгнал бы своего, жадно внимавшего их спорам воспитанника из комнаты или заткнул бы ему уши, Нафта заявил, что материя — слишком плохой материал, чтобы в нем воплощался дух. Желать этого — чудовищная глупость. Ведь что мы видим в результате? Гримасу! Что дало воплощение в жизнь идей хваленой французской революции? Капиталистическое буржуазное государство — хорош подарок! А исправить это надеются тем, что стараются сделать такую гадость универсальной. Всемирная республика? Вот уж, можно сказать, счастье! Прогресс? Ах, это все тот же знаменитый больной, который то и дело перевертывается с боку на бок, надеясь, что от этого ему станет легче. Результатом же является никем не высказываемое вслух, но тайно живущее во всех желание, чтобы началась война. И она разразится, эта война, и это хорошо, хотя она повлечет за собой совсем не то, о чем мечтают ее зачинщики. Нафта презирал буржуазное государство с его гарантиями безопасности.
1031. вдруг начал накрапывать дождь, и все сразу, точно по команде, подняли над головой раскрытые зонты. Нафта усмотрел в этом символ трусости и пошлой изнеженности, порождаемых цивилизацией. Такое событие, как гибель парохода «Титаник», является,

конечно, грозным предостережением, и оно в силу нашего атавизма нас страшит, но в нем есть что-то подлинно освежающее, заявил он. А потом поднимают крик о необходимости сделать «пути сообщения» более безопасными. И вообще, как только эта самая «безопасность» оказывается под угрозой, все начинают возмущаться. Все это очень убого, и в своей гуманистической дряблости отлично сочетается с волчьей свирепостью и низостью, царящих на том экономическом поле битвы, каким является буржуазное государство. Война! Он согласен на нее, и всеобщая жажда войны кажется ему, в сравнении с этим, даже достойной уважения.

1032. Нафта поставил под сомнение само это духовное начало и попытался оклеветать его. Справедливость? Разве это понятие, достойное преклонения? Разве оно божественное? Разве оно высочайшее? Да, Бог и природа несправедливы, у них есть свои любимцы, они расточают свои милости только по выбору, одного выделяют опасной отмеченностью, другому даруют легкую, обычную судьбу. А для человека с настойчивой волей справедливость — это, с одной стороны, парализующая его слабость, обессиливающее сомнение, с другой — фанфара, призывающая к решительным действиям. И так как человеку, чтобы не нарушать морали, неизменно приходится подменять «справедливость» в одном смысле «справедливостью» в другом смысле, где же тогда безусловность и радикальность этого понятия? Да ведь и люди бывают обычно «справедливы» в отношении либо одной точки зрения, либо другой. А все прочее — либерализм, и в наши дни никого на эту удочку не поймает. Справедливость — это, конечно, только словесная шелуха, обычная для буржуазной риторики, и, чтобы действовать, нужно прежде всего знать, какую справедливость имеешь в виду: т у, которая хочет отдать каждому принадлежащее ему, или ту, которая хочет дать всем одно и то же.

1033. Из бесчисленных споров, когда Нафта старался сбить собеседника с толку, мы привели для примера только один. Но еще хуже обстояло дело, едва он начинал говорить о науке, в которую не верил. Нет, он не верит в нее, заявлял Нафта, ибо человек совершенно свободен верить в нее или не верить. Наука — такая же вера, как и всякая другая, только хуже и глупее всякой другой, и самый термин «наука» — это выражение глупейшего реализма, который не стыдится выдавать более чем сомнительные отражения объектов в человеческом интеллекте за чистую монету и строить на их основе самую унылую, лишенную духа и утешения, самую догматическую систему из всех когда-либо созданных человечеством. Разве понятие самостоятельно существующего чувственного мира не является наиболее смехотворным из всех внутренне противоречивых понятий? Ведь современное догматическое естествознание существует благодаря одной-единственной метафизической предпосылке, будто формы человеческого познания — пространство, время и причинность, в которых протекают чувственные явления нашего мира, — это реальные условия, существующие независимо от нашего познания. Такой монизм — самое бессовестное утверждение, которым когда-либо оскорбляли дух. Пространство, время, причинность на языке монистов заменяются словом развитие, и оно служит основным догматом вольнодумной атеистической лже-религии, с помощью которой пытаются опровергнуть первую книгу Бытия и противопоставить якобы оглуляющей библейской басне просветительное знание, точно Геккель присутствовал при возникновении Земли. Эмпиризм! Разве вопрос о мировом эфире — вопрос решенный? И существование атома — этой изящной математической шутки, этой «крошечной неделимой частицы» доказано? А учение о бесконечности пространства и времени, разумеется, основано на опыте? Если допустить хоть немного логики, то с этим догматом о бесконечности и реальности пространства и времени можно прийти к весьма занятным выводам и открытиям — а именно к открытию пустого «ничто», к выводу, что реализм и есть подлинный нигилизм. Почему? Да по той простой причине, что отношение любой величины к бесконечности равно нулю. В бесконечном не существует величин, а в вечности нет ни продолжительности, ни изменений. В пространственной бесконечности, где любое расстояние математически равно нулю, не может быть двух смежных точек, уже не говоря о телах, а тем более о движении. Он, Нафта, это констатирует в противовес той наглости, с

какой материалистическая наука выдает свои астрономические бредни, свою пустую болтовню о «Вселенной» за абсолютное знание. Несчастное человечество! Оно достойно сожаления, ибо позволило, чтобы ему с помощью хвастливого перечня бессмысленных цифр внушили ощущение своего ничтожества и лишили патетического сознания своей значительности. Все это еще можно было бы допустить, если бы человеческий разум и познание, оставаясь в пределах земного, считали только в этой сфере свои переживания субъективно-объективной реальностью. Но когда они выходят за эти границы в область вечных загадок и создают так называемые космологии и космогонии, то шуткам конец и самомнение становится просто чудовищным. Какая это, в сущности, кощунственная нелепость — исчислять в триллионах километров или световых лет «расстояние» какой-нибудь звезды от Земли и мнить, будто эта цифровая белиберда может открыть человеческому духу доступ к существу бесконечности и вечности, — тогда как бесконечность вообще не имеет ничего общего с величиной, а вечность — с продолжительностью и временными измерениями; они не только не являются понятиями естествознания, а скорее, наоборот, упраздняют то, что мы называем природой. И, право же, наивность ребенка, уверенного, что звезды — это дырки в небесном своде, через которые сияет вечный небесный свет, ему, Нафте, в тысячу раз ближе, чем вся эта пустая, бессмысленная и самоуверенная болтовня о том, что монистическая наука называет «Вселенной»!

1034. Коварный Нафта так и хватался за каждую возможность подстеречь слабые места в истории покорения природы прогрессом и уличить его носителей и пионеров в чисто человеческих возвратах вспять, в сферу иррационального. Авиаторы, летчики, по уверениям Нафты, это все плохие и подозрительные люди, прежде всего они очень суеверны. Они берут с собой в самолет всякие талисманы, изображения свинки, ворону, трижды плюют через одно плечо и через другое, надевают перчатки удачливых пилотов. Как примирить столь примитивную нелепость с мировоззрением, лежащим в основе их профессии? Найденное им противоречие радовало его, давало внутреннее удовлетворение, и он долго распространялся на этот счет...
1035. Трудно было бы определить словами тему этой ораторской импровизации, слушая которую Ганс Касторп неуверенно кивал головой. В сущности, она не имела определенной темы, мысль Нафты плавала в сфере духа, касаясь то одного, то другого вопроса:
1036. Между прочим, коснулся он и романтизма, завораживающей двусмысленности этого течения, возникшего в Европе в начале XIX века: перед ним понятия реакции и революции теряют свой смысл, поскольку они не объединяются во что-то высшее. Конечно же, просто смешно связывать понятие революционности только с прогрессом и с победоносно штурмующим обществом просвещением. Европейский романтизм был прежде всего движением освободительным, антиакадемическим, направленным против классицизма, против старофранцузских представлений о хорошем вкусе, против старой школы разума, чьих защитников романтизм высмеивал, как напудренных болванов.
1037. Дело в том, что по существу свобода — понятие скорее романтическое, чем просветительное, ибо его сближает с романтизмом неразрешимое противоречие между жаждой человека к расширению вовне и страстным суживающим подчеркиванием своего «я». Индивидуалистическое стремление к свободе породило исторический и романтический культ национализма, а он полон воинственности, и гуманитарный либерализм называет его «мрачным», хотя он тоже учит индивидуализму, но несколько иначе. Индивидуализм, с его верой в бесконечную космическую ценность каждой отдельной личности, — явление романтически-средневековое, из него вытекает учение о бессмертии души, геоцентризм и астрология. С другой стороны — об индивидуализме твердит и гуманизм, заигрывающий с либерализмом, он близок к анархии и, во всяком случае, жаждет защитить драгоценный индивид, чтобы его не принесли в жертву всеобщему. Это тоже индивидуализм, часто слово обозначает и одно и многое другое.
1038. Однако нельзя не признать, что пафос освобождения создал в борьбе с лишенным благоговения разлагающим прогрессом самых блистательных врагов свободы, самых

остроумных защитников прошлого. И Нафта назвал Арндта, проклинавшего индустриализацию и славившего дворянство, назвал Герреса, написавшего книгу о христианской мистике. И разве мистике чужда свобода? Разве мистика не была против схоластики и догматизма, против священников? Нельзя не видеть освобождающей силы и в иерархизме, ибо именно он поставил пределы безграничной монархии. Мистика же позднего средневековья сохранила свою освободительную сущность, которая была предвестницей Реформации, — Реформации, оказавшейся, хе-хе, неразрешимым сплетением свободы и возврата к средневековью...

1039. Деяние Лютера... Ну что ж, у него то преимущество, что он с самой грубой очевидностью показал сомнительную сущность этого деяния, деяния вообще. А знают ли слушатели Нафты, что такое деяние? Это, например, убийство государственного советника Коцебу студентом-корпорантом Зандом. Что, говоря на языке криминалистов, «вложило оружие в руки» юноши Занда? Порыв к свободе, разумеется. Но если взглянуть повнимательнее, то окажется, что вовсе не этот порыв, а скорее моральный фанатизм и ненависть к антинародной frivolности.
1040. Короче говоря, чем бы ни было деяние, оно является плохим способом отстаивать свои взгляды и очищению духовных проблем тоже мало способствует.
1041. — Милостивый государь, советую вам осторожнее выбирать ваши выражения! — В таком совете, милостивый государь, я не нуждаюсь. Я привык выбирать свои слова, и они будут в точном соответствии с фактами
1042. Но разве не могли трое остальных попытаться успокоить спорщиков, разрядить шуткой напряженную атмосферу, примиряющим словом все уладить? Однако они не сделали ее, этой попытки. Мешали внутренние причины.
1043. Наступила тишина, и все слышали, как Нафта заскрежетал зубами. Этот скрежет был для Ганса Касторпа такой же неожиданностью, как и вставшие дыбом волосы Видемана: он воображал, что так только говорится, а в действительности не бывает. Но теперь Нафта в самом деле заскрежетал зубами среди тишины, — ужасно неприятный, зверский и непривычный звук, все же явившийся результатом какого-то невообразимого самообладания, ибо иезуит не закричал, а проговорил вполголоса, не то задыхаясь, не то смеясь.
1044. А сейчас добавлю только одно: ваш ханжеский страх за схоластическое понятие государства, созданного якобинской революцией, заставляет вас видеть в моем желании пробудить в молодежи сомнения, выбросить на свалку все ваши категории и лишить идеи их академической добродетели какое-то педагогическое преступление. Страх этот больше чем оправдан, ибо вашему гуманизму пришел конец, можете быть в этом уверены, с ним покончено без возврата. В наши дни это только пережиток, псевдоклассическая безвкусица, духовное епнуи[265], она вызывает зевоту, и новая, наша революция с ней намерена покончить, вот что, милостивый государь! Если мы как воспитатели пробуждаем сомнения более глубокие, чем это когда-либо снилось вашему скромному просветительству, то мы знаем, что делаем. Только из радикального скепсиса, из морального хаоса рождается безусловное, тот священный террор, который необходим нашему времени.
1045. я очень сожалею, что наша прогулка этим кончилась, но в жизни надо быть всегда готовым к таким случаям. В теории я не одобряю дуэли, и прав закон, что он против нее. Но на практике — дело другое, существуют положения, когда... Противоречия, которые... словом, я к услугам этого господина.
1046. — Согласен, согласен! Пусть он этим оскорбил вас. Но он же вас не опорочил. И тут есть разница, разрешите сказать вам! Ведь речь идет об абстрактных, о духовных проблемах. Можно своими взглядами на эти проблемы оскорбить человека, но не опорочить. Это аксиома, со мной согласился бы любой суд чести, могу вам в этом поклясться.
1047. Ведь абстрактное, очищенное, идеальное и есть абсолютное, то есть строжайшее, и в нем таятся гораздо более глубокие и действенные возможности для ненависти и непримиримой вражды, чем в жизни общественной. И как бы вы ни удивлялись, но оно даже прямее и

- беспощаднее, чем эта жизнь, ведет к такой ситуации, когда ставится вопрос: либо я, либо ты, к подлинно радикальной ситуации, к ситуации дуэли, физической борьбы.
1048. Дуэль, мой друг, не такой «обычай», как все остальные. Дуэль — это последнее средство, возврат к первобытному состоянию, лишь слегка смягченному некоторыми правилами рыцарства, но смягченному очень поверхностно. Основным остается в ней момент первобытного, физическая борьба, и каждый мужчина, как бы он ни был далек от природного начала, если дело дойдет до этого, должен оказаться на высоте. А он может в любой день попасть в такое положение. Тот, кто не способен отстаивать свой идеал силой своей личности, своей рукой, своей кровью, тот недостоин его; главное в том, чтобы при всей одухотворенности оставаться смелым и мужественным.
1049. Эти мысли не были его мыслями, и идея дуэли не ему пришла в голову, он заимствовал ее у террориста Нафты, у этого фанатичного недомерка; это были результаты того, вызванного внутренними импульсами всеобщего плена, в который попал светлый разум Сеттембрини, став их прислужником и орудием.
1050. Как, неужели духовное начало, только потому что оно строго, должно неотвратимо приводить к звериности, к тому, чтобы решать спор путем физической борьбы? Ганс Касторп противился такой точке зрения, или делал попытки противиться ей, но с испугом обнаружил, что и он не в силах это сделать. Они тоже в нем жили, эти внутренние импульсы, и обладали большой силой, и он тоже не мог от них освободиться. Угрозой и безысходностью повеяло на него, когда он вспомнил, как Видеман и Зонненшейн катались по полу в бессмысленной зверской схватке, и он с ужасом понял, что в конце концов остается только физическое начало, когти, зубы. Да, да, видимо, нужно драться на дуэли, так можно благодаря рыцарским правилам борьбы сберечь хоть некоторую смягченность первобытных инстинктов. И Ганс Касторп предложил Сеттембрини быть его секундантом.
1051. Вот они уже поспали две ночи после той словесной стычки, поспят еще и третью. А сон, как известно, освежает и проясняет мысли, с бегом часов определенное состояние духа не может не меняться. Завтра рано утром ни один из противников, когда они возьмут в руки оружие, уже не будет таким, каким был в день ссоры. Они будут действовать самое большее машинально, желая соблюсти свою честь, а не так, как они поступили бы сейчас, следуя своей свободной воле, и как они поступали в тот вечер, подчиняясь своим порывам и убеждениям; а ведь от такого отрицания своего сегодняшнего «я» в угоду тому, чем они были два дня назад, их можно будет и уберечь!
1052. Он двинулся к месту дуэли как-то автоматически, вынужденный к этому правилами чести, под давлением обстоятельств. Его присутствие на дуэли само собой разумелось и было необходимо. Невозможно было выключиться из событий и, лежа в постели, ожидать их исхода, во-первых, потому... но это «во-первых» он не стал уточнять и тут же перешел к «во-вторых»: во-вторых, нельзя предоставлять события их собственному течению.
1053. Но потом благодаря его, Ганса Касторпа, присутствию и воздействию, все, без сомнения, уладится мирно и хорошо, а каким способом — лучше не стараться предугадать, опыт показывает, что даже самые незначительные события протекают иначе, чем их рисуешь себе заранее.
1054. — Вы стреляли в воздух, — с полным самообладанием сказал Нафта и опустил пистолет. — Я стреляю куда мне угодно. — Вы будете стрелять еще раз! — И не подумаю. Теперь ваша очередь. И Сеттембрини, подняв голову и глядя в небо, стал не совсем прямо перед противником, а немного боком к нему, и это было даже трогательно. Он, видимо, слышал от кого-то, что не следует подставлять противнику свое тело во всю его ширину, и действовал в соответствии с этим указанием. — Трус! — крикнул Нафта, этим слишком человеческим возгласом как бы признаваясь, что, когда стреляешь сам, для этого нужно больше мужества, чем когда предоставляешь стрелять в себя другому, и, подняв пистолет так, как его не поднимают при поединке, выстрелил себе в голову.
1055. Семь лет провел Ганс Касторп у живших здесь наверху — для сторонников десятичной системы это недостаточно круглое число и все же хорошее, по-своему удобное число,

можно сказать — некое мифически-живописное временное тело, более приятное для души, чем, например, сухая шестерка.

1056. Он сидел там, уже обросший небольшой бородкой, которую за это время отпустил, она была соломенного цвета и довольно неопределенной формы, в чем мы вынуждены видеть некоторое философское равнодушие к своей наружности. И мы должны пойти дальше и признать, что эта склонность пренебрегать собой была связана с подобной же тенденцией внешнего мира пренебрегать им.
1057. Его оставляли в покое — вроде того как оставляют в покое ученика, который пользуется своего рода приятным преимуществом: его уже незачем спрашивать, ему уже ничего не надо делать, так как он остается на второй год, это вопрос решенный; он идет не в счет и наслаждается некоей оргиастической формой свободы, добавим мы, причем возникает вопрос, может ли свобода быть иной и иметь иную форму.
1058. И не признаком ли известной беззаботности в отношении его особы было то, что его посадили за «плохой» русский стол? Мы этим вовсе не хотим сказать решительно ничего унижительного про «плохой» русский стол! Ни у одного из всех семи столов не было никаких явных преимуществ или недостатков. Смело выражаясь, в санаторской столовой царила демократия почетных столов. Сидящим за ним, как и за остальными, подавались такие же сверхобильные трапезы, сам Радамонт в порядке очереди садился за него, складывая перед тарелкой свои ручищи; а представленные здесь народности были заслуживающими всякого уважения сочленами человечества, хоть они и не знали латыни и не жеманничали за едой.
1059. Говорить о скорби было бы украшательством, все же в глазах Ганса Касторпа появилось в те дни более задумчивое выражение. Смерть деда и раньше не вызвала бы в нем особенно сильных чувств, а после нескольких, весьма фантастических годиков, проведенных вдали от родины, возможность подобных чувств почти совсем иссякла; и все же эта смерть порвала еще одну нить, еще одну связь с областью живущих внизу и придала тому, что Ганс Касторп справедливо называл свободой, завершающую полноту.
1060. но ученик слушал его неохотно, ибо, хотя он, «управляя», и грезил о неких духовных тенях предметов, но на сами предметы не обращал внимания, — из высокомерной склонности принимать тени за предметы, а в предметах видеть только тени — за что его особенно и винить нельзя, ибо их взаимоотношения до сих пор не выяснены окончательно.
1061. ожидавшей своего дня, утра народов, когда принцип косности будет разбит и возникнет священный альянс всей буржуазной демократии...
1062. Сеттембрини был гуманистом, но вместе с тем и именно потому, — хоть он и неохотно сознавался в этом, — чувствовал в себе воинственность.
1063. он высказывал в разговоре с Гансом Касторпом беспокойство по поводу дипломатических совместных действий его отечества и Австрии; они, с одной стороны, воодушевляли его, так как были направлены против некультурной полуазиатской страны, против кнута и Шлиссельбурга, а с другой — мучили, ибо это был недостойный союз с исконным врагом, с принципом косности и порабощения народов.
1064. но соглашение этой просвещенной республики с византийскими скифами морально смущало его
1065. Затем произошло убийство эрцгерцога, оно послужило для всех, кроме немецких сонливцев, сигналом тревоги, указанием для понимающих, к которым мы с полным правом можем причислить и Сеттембрини. Ганс Касторп видел, что он как человек содрогается от такого злодейства, но видел также его радостное волнение при мысли о том, что это — деяние народное и освободительное, направленное против ненавистной ему цитадели зла, хотя нельзя было забывать, что акт этот — результат московских усилий.
1066. Хотя его скромная судьба и исчезала на фоне всеобщих судеб человечества, не выражалась ли и в ней какая-то предназначенная лично ему, а следовательно, божественная доброта и справедливость?
1067. Среди этой сумятицы его обнял Лодовико, в буквальном смысле слова, и как южанин (или как русский) расцеловал в обе щеки, что очень смутило самовольно уезжавшего ученика.

1068. приведенные сюда духом нашего повествования
1069. Это полк, состоящий из добровольцев
1070. Их три тысячи, чтобы могло остаться хоть две, когда они дойдут до холмов и деревень; в этом — смысл их численности. Они — единое тело, рассчитанное на то, чтобы даже при больших потерях оно еще было в силах действовать и побеждать, все еще приветствовать победу тысячеголосым «ура», невзирая на то, что многие отстали, выбыли из строя.
1071. и они бросаются вперед, кричат срывающимися голосами, с трудом, как в кошмаре, передвигая ноги, ибо комья земли прилипают свинцовой тяжестью к их неуклюжим сапогам.
1072. Тяжелый снаряд, продукт одичавшей науки, начиненный всем, что есть худшего на свете
1073. Прощай, Ганс Касторп, простодушное, но трудное дитя нашей жизни! Повесть о тебе окончена. Мы досказали ее; время в ней и не летело и не тянулось, ибо это была повесть герметическая. Мы рассказали ее ради нее самой, не ради тебя, ибо ты был простецом. Но в конце концов это все же повесть о тебе; и так как рассказанное в ней приключилось именно с тобой, вероятно, в тебе все же было что-то, и мы не отрицаем той педагогической привязанности к тебе, которая в нас возникла по мере того, как развивалось повествование, и которая могла бы заставить нас слегка коснуться уголка глаза, при мысли о том, что в дальнейшем мы тебя больше не увидим и не услышим.

Конец текста